

# Дмитрий Балашов

## ГОСУДАРИ МОСКОВСКИЕ I



## 6 РОМАНОВ

Эпическая хроника  
русской истории

**Дмитрий Михайлович Балашов**  
**Государи Московские 1:**  
**Младший сын. Великий стол.**  
**Бремя власти. Симеон Гордый.**  
**Ветер времени. Отречение**  
Серия «Русская литература.  
Большие книги»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=73912942](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73912942)*  
*ISBN 978-5-389-33243-0*

### **Аннотация**

«Государи Московские» – монументальный цикл романов, созданный писателем, филологом-русистом, фольклористом и историком Дмитрием Балашовым. Эта эпическая хроника, своего рода один грандиозный роман-эпопея, уместившийся в многотомное издание, охватывает период русской истории с 1263 до 1425 года и уже многие десятилетия не перестает поражать читателей глубиной, масштабностью, яркостью образов и мастерской стилизацией языка. Вместе романы цикла образуют своего рода летопись, в которой исторические события жизни

крупных княжеств разворачиваются год за годом, где отражены быт и нравы различных сословий, представлены судьбы, облик и характер сотен исторических деятелей.

Первые романы цикла: «Младший сын», повествующий о жизни первого московского князя, младшего сына Александра Невского Даниила Александровича, и «Великий стол» – история борьбы за великое княжение между Юрием Даниловичем Московским и Михаилом Ярославичем Тверским в начале XIV века.

Романы «Бремя власти», посвященный огромной по историческому масштабу борьбе московского князя Ивана Калиты за объединение Руси, и «Симеон Гордый», повествующий о судьбе и правлении старшего сына и наследника Ивана Калиты – князя Семена Ивановича.

Пятый и шестой романы – «Ветер времени» и «Отречение» – повествуют о завершении соперничества Московского и Тверского княжеств за главенство над русскими землями

# Содержание

Государи Московские. Младший сын. Великий стол	6
Младший сын	6
Пролог	7
Часть первая	17
Глава 1	17
Глава 2	20
Глава 3	28
Глава 4	40
Глава 5	42
Глава 6	62
Глава 7	74
Глава 8	91
Глава 9	99
Глава 10	103
Глава 11	106
Конец ознакомительного фрагмента.	108

**Дмитрий Балашов**  
**Государи Московские 1:**  
**Младший сын. Великий**  
**стол. Бремя власти.**  
**Симеон Гордый. Ветер**  
**времени. Отречение**

© Д. М. Балашов (наследники), 1975, 1979, 1981, 1983,  
1987, 1989

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Ат-  
тикус“», 2024

Издательство Азбука®

# Государи Московские. Младший сын. Великий стол

## Младший сын

*Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих, тогда знаем Историю. Хвастливость авторского красноречия и нега читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней истории, но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?*

*Мы одно любим, одного желаем: любим отечество, желаем ему благоденствия еще более, нежели славы, желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия, да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле*

*нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!*  
*Н. М. Карамзин*

## Пролог

О, светло-светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами удивлена ты еси: озерами светлыми, реками многоводными, святыми кладезями местнотимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми разнообразными, птицами бесчисленными, городами великими, селами красными, садами обительными, домами церковными, князьями грозными, боярами честными, вельможами гордыми – всего еси исполнена земля Русская, о, правоверная вера христианская!

Отселе до угров, и до ляхов, и до чехов, а от чехов до ятвяги, от ятвяги до литвы, до немец, от немец до корелы, от корелы до Устюга, туда, где тоймичи дикие, и за Дышущим морем, а от моря до болгар, от болгар до буртас, до черемис, от черемис до мордвы – то всё покорено было Богом христианскому языку, все поганские страны: великому князю Всеволоду, отцу его, Юрию, князю киевскому, деду его, Володимеру Мономаху, которым половцы страшили детей в колыбелях, а литва тогда из болота на свет не выныкивала, а угры твердили каменные города железными воротами, абы на них великий Володимер тамо не въехал, а немцы радова-

лия, далече будучи за синим морем! Буртасы же, черемисы, вяда и мордва бортничали на князя великого Володимера. И сам кюр Мануил цареградский, опас имея, бесценные дары посылал к нему, дабы и под ним великий князь Володимер Цесаря города не взял!

А в последние дни настала болезнь христианам, от великого Ярослава и до Володимера, и до нынешнего Ярослава, и до брата его, Юрья, князя владимирского...

О, великая земля Русская, о, сладкая вера христианская!

Горели деревни. Ветер нес запах гари, горький запах, мешавшийся со смолистым сосновым духом и медовыми ароматами лугов. Сухой и тонкий, он лишь слегка, незримо, вплетался в упругую влажность ветра, и все-таки от него, от этого легкого и горького привкуса, першило в горле и сухо становилось во рту, ибо это был запах беды, древней беды народов и особенной беды деревянной, дотла выгорающей в пожарах русской страны. И это же был запах огня, жизни! Но почему так рознятся запахи дыма костров и пожарищ? О жилом, о тепле, о ночлеге и хлебе говорит дым костра, и о смерти, скитаниях, стуже – горький чад сгорающих деревень.

На вершине холма, на коне, что, потягивая повод и тревожно раздувая ноздри, нюхал ветер, тянувший гарью из-за синих лесов, сидел, глядя тяжелыми, в отечных мешках, зоркими глазами туда же, куда и конь, и еще дальше, за синие леса, за озера, в далекие степи мунгальские, русский князь.

Он лишь на миг скосил глаза, когда внизу вырвалась вдруг из леса, ломая грудью ельник, ошалевшая от огня и страшного запаха дыма кобыла, и тотчас, следом за нею, выскочил на опушку и побежал по склону холма, кособочась, босой старик, с отдуваемой ветром бородой, в серо-белой некрашеной рубахе и таких же серо-белых, отбеленных солнцем холщовых портах. Мужик бежал, щурясь на бегу из-под ладони, зорко и опасливо глядя вверх, туда, где, темный противу солнечной стороны, стоял на коне князь и чередой тянулись, щетинясь остриями копий и шеломов, ратники княжой дружины. Кто-то из ратных, не выдержав, порушил ряд и поскакал впереймы, норовя раньше мужика ухватить за повод одичавшую лошадь...

Князь с холма продолжал глядеть вперед. Он знал эту дорогу. Долго будут тянуться, провожая, еловые да сосновые боры, березовые колки, дубовые и кленовые рощи, деревни и города, пашни и перелески, где остались, в чаще лесов, родной Переяславль, княжий стол, златоглавый Владимир. А там, за Муромом, за Окою, шире и шире пойдут поляны в разноцветье трав, по брюхо коню, чернее земля на пашнях, а там, за последними, потерянно прячущимися в приовражьях русскими землянками, начнутся степи, а за ними шумный и разноязычный Сарай, не поймешь: то ли торг, то ли город, то ли стойбище татарское?.. Где рев верблюдов, табуны коней, амбары, лавки, пыль, иноземные купцы и, среди всего, жалкие глаза русских полоняников. А там, за широкой, как

море, рекой Итиль, по-русски Волгой, опять степи, чужие, мунгальские, где уже и не встретишь русского лица, только седой серебряный ковыль под ветром ходит волнами до края неба да изредка промаячат по этому морю плывущие караваны. А там, дальше, редкие сосновые перелески да пески, и цветные, рыжие, красные, зеленые и синие холмы, и снова степи день за днем, месяц за месяцем, и сухая пыль, то жаркая, то ледяная, и горы в мареве, и лица чужие, плоские, широкоскулые, будто трава их рождает так, целиком, в оружии, на диких степных конях. И совсем далеко ставка великого кагана, степной город, составленный из расписных юрт и лаковых разборных дворцов, готовый ежеминутно сняться с места и в реве, в ржании, в глухом и тяжелом, потрясающем землю стуке бесчисленных копыт плыть на новые земли и страны, рушить царства, губить города... Город, откуда так трудно возвращаться живым... Князь смотрел, каменья, за синие леса, за широкие степи, великий князь Золотой Руси!

Он был женат, как и Владимир Святой, на полоцкой княжне. Только не брал ее с бою, как Владимир Рогнеду, и жили хорошо. Свое прозвище «Невский» он получил за малую битву, удавшуюся ему в далекие молодые годы, в те годы, когда только и можно так вот, очертя голову, не собрав рати, с одною дружиною сунуться на неприятеля, уповая лишь на удачу да на неожиданность натиска... Сvei опомнились быстро, и, кабы не оплошность Биргера да не удаль молодецкая, ему бы плохо пришлось. После, с немцами, он уже не забы-

вал так себя. А на что ушли прочие годы? На устройство. Он устраивал землю. Для себя. Для своих детей. Вот эту русскую землю топтали татарские кони по его зову. Саблями поганых добывал у родного брата золотой стол владимирский. Добыл. Разоренную, поруганную, в крови и пепле сожженных городов... И устраивал.

И принял руку Батыеву, протянутую ему, и сам протянул руку врагу в час, когда Бату, в споре с Гуюк-ханом, остался один, с малым войском, на враждебной, едва полоненной земле, и мог быть, возможно, разгромлен совокупными силами...

И не пошла ли бы тогда иначе вся история Руси Великой? В союзе с торговым, изобильным, деловитым Западом, с его королями и императорами, книжной премудростью, замками, рыцарями, каменными городами, учеными-гуманистами?

Думал ли он, что католики Запада могли оказаться еще пострашней мунгальской орды, что, наложив руку на храмы, веру, знание, обратив просторы русских равнин в захолустье Европы, прикрывшись страной, как щитом, от угрозы степей, они предали бы потом обессиленную, отравленную учением своим Русь и бросили ее на снесь варварам Востока, надменно отворотясь от поверженной в прах страны? Или, не загадывая так далеко, просто не почел рисковать неверным воинским счастьем в споре, исход которого был слишком неясен и, в поражении, грозил обернуться еще горшею

бедой? Или – из мести за отца, отравленного в Каракоруме ханшей Туракиной, – решил поддержать он Бату, врага Туракины и Гуюка? Или все это вкупе, быть может, даже и не понятное, а почувствованное сердцем, обратило его к союзу с Ордой?

Ручеек просек каменный склон и стремится вниз, с резвой белопенной радостью рождения. Тут и камня хватит, завала, лопаты земли, чтобы задержать, запрудить, поворотить течение назад, быть может, перекинуть на другую сторону горного хребта... Но вот ручей ширится, вбирая ручьи и реки, обрастает городами, несет челны, поит земли, и уже подумать нельзя, чтобы не здесь, не в этих берегах и не к этому морю стремился мощный поток, тот поток, что когда-то упавший камень, оползень или заступ землекопа могли обратить вспять, и росли бы другие города, и уже иные народы поили иные стада из этой реки, и в иные моря уходили ее струи... И уже стали бы думать – почему? Искать неизбежности, доказывать, что именно так, не иначе, должна была, не могла не потечь река-история, будто история существует сама по себе, без людей, без лиц. Будут говорить о ее непреложных законах, ибо видна река, но не камень, повернувший течение ручья...

Русский князь с тяжелыми властными глазами стоял у истока. Он, возможно, не знал этого и сам, не ведал, что от него, от копыт его скакуна потечет, будет расти и шириться великая страна. Он не знал и не ведал грядущего. Он весь

еще был – при конце. Величие, рассыпавшееся по земле, как дорогое узорочье, гаснущий блеск Киевской державы закатным огнем еще осеняли его голову. Но он избрал путь, повенчав Русь со степью узами любви и ненависти, на вечный бой и вечную тоску по просторам степей. И сейчас, с холма, глядел туда, в эти безмерные дали времени, прозревая и не видя за туманами верст и веков конца своего пути...

Его (он не знал этого) сделают святым. Святым он не был никогда. Был ли он добр? Едва ли. Умен – да. Дружил и хитрил с татарами, не пораз ездил в Орду, в Сарай, и даже в Каракорум, к самому кагану мунгальскому. Но, выбрав свой путь, шел по нему до конца. Себя заставлял верить, что надо так. Остановливал нетерпеливых, не послушал даже Даниила Галицкого. Усмирял Новгород, не желавший платить дань татарам. Усмирил, родного сына не пожалев. Сам гнулся и других гнул. Твердо помнил, как отец умно и вовремя склонился перед Батыем, не пришел на Сить умирать вместе с Юрием – и получил золотой владимирский стол. Отец был прав. Мало радости да и честь не добра, погинуть стойно Михайле Черниговскому!

Так, тяжелой братнею кровью окупленный, кровью не им, а татарами пролитой, решился вековой спор суздальских Мономашичей с черниговскими Ольговичами, спор Юрия Долгорукого, а потом и Всеволода о золотом столе киевском, спор Ярослава Всеволодича, отца Александра, с тем же Черниговским Михаилом. И вот теперь не Михайло, святой

мученик, а прежде того держатель стола киевского, мнивший объяти всю землю русскую в десницу свою, – не Михаил, а он, Александр Ярославич Невский, стал великим князем киевским и владимирским тож. Но горька та власть, полученная из рук татарских, над опустелым, травой заросшим Киевом, над разоренной и разоряемой Черниговскою землей. Горька власть, и тяжка плата за власть – дань крови и воля татарская.

Земля была устроена. Сыновья выросли. Старший, Дмитрий, получит Переяславль, а там, после дядьев, и великое княжение владимирское. Братья, братаничи, ростовские и суздальские своюродники, смоленские и черниговские князья – послушны его воле и под рукой ходят. Земля принадлежит ему, его роду. Даже младший, годовалый Данилка, получит удел – городок Москву, будет чем себя кормить при нужде. Земля была устроена, и дети выросли. И все равно главного он не сделал. Земля была не своя, чужая. Дымившиеся за лесом деревни платили дань татарской Орде и были подожжены татарами. И отряд-то, верно, маленький, пожгли и отбежали. Поди, тех баскаков чадь, что избиты по городам...

Самое время, одарив и улестив Беркая, добиться, чтоб самому, без бесермен поганых, собирать ордынские выходы! Дань на своей земле князь должен собирать сам! Пото и разрешил он черни резать и гнать бесермен из Ростова, Ярославля, Углича, Владимира и иных градов и весей. Не слепо,

как Андрей, не очертя голову! Там, в далекой степи, встала рать. Орда в брани с каганом мунгальским. За каганьих ясащиков могут нынче и не спросить. На резню по городам, почесть, было получено разрешение золотоордынского хана... Было ли?

Резали страшно. В Ярославле инока-отступника, Зосиму, что принял мухаммедову веру и ругался над иконами, оторвав голову, таскали по городу и не то утопили потом в отхожем месте, не то бросили псам. Резали дружно, в один день и час... Он опять мысленно пересчитал тяжкие узлы с дарами. Но ведь дары можно взять и так, прирезав его, Александра, с горстью ратных! К счастью, пока еще он нужен Беркаю. Нужны русские полки для далекой персидской войны. Полков, впрочем, он тоже нынче не даст, рати с воеводами усланы им под Юрьев, громить немцев. Там они нужнее. Довольно уже русских воев ушло в мунгальские степи да в Китай. Ушло, и не воротилось назад!

Он сумел пережить и перехитрить Батыя. С сыном Батыевым, Сартаком, заключил братский союз. Но ежели там, в далекой степи, его поймут – он пропал и выплатит на сей раз головой тяжкую дань татарскую. Сартак, названный брат, убит. Быть может, и для него это последний поход.

Тяжело весить на весах судьбы своей невесомое! Отца не любили на Руси. И оговорил его у кагана свой же боярин, Федор Ярунович... Братство с покойным сыном Батыевым перевесит ли в Орде пролитую татарскую кровь, когда и на сво-

их-то положиться нельзя? Да и поможет ли братство с покойником перед лицом нового хана чужой, мухаммедовой веры?

Ежели хоть одна из тех грамот, что рассылал он по городам, попадет в мунгальские руки... Ежели там, в далекой степи, поладят друг с другом и снова захотят пролиться на Русь тысячами конских копыт... Ежели Орда откачнется к бесерменам и объявит священный поход на христиан... Ежели Беркай его разгадает – он погиб. И погибнет Русь. Вот этот мужик, что ловит свою кобылу... А об ином и думы нет. Сколько их бредет, с гноящимися ногами, бредет и пропадает костью в великой степи!

Ратник уже успел поймать крестьянского коня и теперь насмешливо глядел на подбегавшего мужика. Лошадь мелко дрожала кожей, тонко ржала, кося кровавым глазом.

Мужик, в некрашеной посконине, еще бежал, пригнувшись, вверх по скату холма, косо загребая твердыми, в бугристых мозолях, растоптанными стопами колкую с прошлогодней косьбы, сухую затравеневшую землю, и на бегу все скидывал руку лопаточкой, пытаясь, защитив глаза от солнца, разглядеть князя, но уже чуялось, что и сам не знает, догонять ли лошадь или, спасая жизнь, стремглав кинуться назад, в лес.

Князь чуть повел шеей и краем глаза увидел, как Ратша повелительно кивнул ратнику, и ратник, по каменной спине князя мигом догадав, что дал маху, толкнул стремями бока своего скакуна, дергая упирающуюся кобылу: «Но! К

хозяину идешь, шалая!» – с нарочитым безразличием подъехал к остоявшемуся мужику, верившему и не верившему неожиданной удаче, и протянул тому конец веревочного повода. Мужик вздрогнул, чуть не оплошав, попятился, но успел-таки поймать прянувшую вбок кормилицу. Под тяжелым взглядом полуприкрытых отежшими веками глаз ратник отпустил повод, и мужик, смятенно озираясь на князя, торопливо вскарабкался на хребет лошади и так, охлюпкой, погнал ее скорее в лес, туда, где таял в воздухе дым догорающей деревни. Ратник воротился в строй. Князь, так и не вымолвив слова, отворотил лицо.

Земля была своя, и зорить ее без толку не стоило.

## **Часть первая**

### **Глава 1**

Александр умер на обратном пути из Орды, не доехав до Владимира, в Городце.

Приставали в Нижнем. Обламывая береговой лед, лодьи подводили к берегу. Бессильное тело больного князя бережно выносили на руках. Тяжелую кладь, казну и товары, оставили назади, ехали налегке – довести бы скорей! И все одно не успели. От холодного лесного воздуха родины ему сперва полегчало, но уже под Городцом поняли – не доедет. Оста-

новили на княжьем подворье. Обряд пострижения в монашеский сан совершали наспех, торопясь. Священник, отец Иринарх, пугливо взглядывал в стекленеющие очи великого князя владимирского и киевского, все еще не веря тому, что происходило у него на глазах. Властной тяжестью руки Александр паче всего приучил всех верить в свое бессмертие. И вот – рушилось. Русская земля сиротела, и он, Иринарх, перстом Господа был указан для дела скорбного и громадного: отречь от мира надежду и защиту земли. Замешкавшись, он пропустил тот миг, когда последнее дыхание умирающего прервалось и осталось смежить очи, из которых медленно уходила жизнь. Трепетной рукою он коснулся холодеющих вежд, с усилием закрыл и держал, шепча молитву, дабы не открылись вновь, не увидеть еще этот немой, безмысленный, мертвый и страшный взгляд; два холодных драгих камня – грозно оцепеневшие голубые очи великого князя.

Уже за Городцом начались поминальные плачи. Мужики придорожных деревень стояли рядами, крестились, сняв шапки. Бабы плакали навзрыд. На стылую землю с серо-сизого облачного неба оседала, кружась, редкая неслышная пороша. Лужи звонко ломались под копытами и полозьями саней. Молча подъезжали, присоединялись к печальному поезду князя с дружинами из Стародуба, Гороховца, Ярополча. Ближе к Владимиру гроб понесли на руках. Толпы горожан, чернея, оступили дорогу. У Боголюбова, за десять верст от города, где тело встретил митрополит Кирилл с причтом,

от народа стало не пробиться. Люди забирались на кровли, лезли на ограду, с горы перли вниз так, что изгороди сметало, точно половодьем. Толпа шуб, сермяг, армяков и зипунов, простых вотол и дорогих опашней, бабьих коротеев и боярских шубеек залила и перехлестнула пути. Кое-где вскрикивала задавленная баба, дуром, на сносях, припершаяся в самую гущу; плакали и сморкались; гомон гомонился: «Братцы! Православные! Задавили! Батюшки! Спаси Христос! Люди добрые! Отдай! Отступи! Спаси, Господи, люди твоя! Заступник, милостивец! Живота лишите совсем!» Выпрастывая с усилием руки, крестились, тискали шапки в руках. Пар курился облаками над морем сивых и светлых, где лысых, где кудрявых голов, над платками, киками и кокошниками горожанок. Старались не отстать и лезли, лезли вперед, к открытому гробу, туда, где пламя свечей металось от соединенного в ветер людского дыхания, в облака остро пахнущего на морозе ладанного дыма, и тут падали на колени, ползли, тянулись – хоть прикоснуться к краю одежды, к ногам, к скрещенным на груди рукам покойного. Священники, подымая кресты, отодвигали воющую толпу, совестили. Только так можно было, и то медленно, шаг за шагом, поминутно останавливаясь, продолжать шествие. А когда над кое-как укрощенным многолюдьем поднялся митрополит и слабым, но ясно прозвучавшим в морозном воздухе голосом бросил в толпу свои, ставшие знаменитыми в столетьях слова: «Зрите, братие, яко же зайде солнце земли русския!»

и народ тысячеустно возопил в ответ: «Уже погибаем!» – и стал валиться на колени, показалось – задрожала сама земля, не выдержав тяжкого колыхания необозримой скорбной громады...

И звонили колокола, и снова, и снова передавалось и росло, и светлело, исторгая потоки слез, словно ветром принесенное, обогнавшее скорбный поезд благовестие: татарского погрома, мщенья за побитых бесермен, коего с ужасом ожидала истерзанная Владимирская земля, не будет, не будет! Мертвый Александр вез на Русь мир.

Потом, тоже разом облетевшее весь город, распространилось известие о чуде. В соборе, во время отпевания, когда приступили ко гробу, дабы вложить прощальную грамоту, покойный сам распростер длань и принял грамоту из рук объятого ужасом митрополита, и вновь сжал десницу, – а был уже девятый день по успении! О том, впрочем, говорил и сам митрополит Кирилл, толкуя чудо как знак святости и великих заслуг покойного перед Господом и языком Русским: «Тако бо прослави Бог угодника своего, иже много тружася за Новгород, и за Псков, и за всю землю Русскую, живот свой полагая за православное христьянство».

## Глава 2

Пышные княжеские терема Всеволода Великого, о которых еще и теперь восторженно вспоминали старики, – с воз-

вышенными, на киевский образец, обширными сенями, с хороводами гульбищ, вышек, затейливых верхов, сплошь изузренных и расписных, золотом и киноварью подведенных, – сгорели во время Батыева погрома. Нынешний княжой двор во Владимире был и проще, и бедней. Да и не диво: с каких животов и кому было восстанавливать былую былинную красоту? Каждый князь, получавший владимирский стол, продолжал жить в своем родовом городе, только наезжая по времени во Владимир. Митрополичьи палаты, стараниями Кирилла возведенные на пепелище, выглядели основательней княжеских. Только голые белокаменные соборы по-прежнему возносили свои тяжело-стройные главы над кручей Клязьмы и от соседства понизившихся княжеских теремов прореженного пустырями города стали как бы еще выше, еще стройнее.

Тело Александра до похорон поставили в большой столовой палате. Теперь тут было все убрано и приготовлено к поминальной трапезе. Раздеваясь (прислуга, стараясь быть незаметной, сновала с верхним платьем, подавала гребни, шепотом спрашивала, не нужно ли чего?), проходили в соседнюю, крестовую палату. Здесь, под образами суздальского и новгородского письма, уже стояли – до прихода митрополита не садился никто – князья и княгини из рода Всеволода Великого, Всеволода Большое Гнездо, слетевшиеся на скорбную весть из ближних и дальних городов Владимирской земли.

Александра, вдова Невского, с двухлетним Данилкой, извещенная с пути о болезни мужа, выехала из Переяславля загодя. Весть о кончине застала ее во Владимире. От Боголюбова Александра в рыданиях билась над гробом, в церкви несколько раз падала замертво. Данилка, еще ничего не понимавший, только тарасил глазки на золотые ризы, на свечи, на оклады икон, задирая головку на старинные, византийской работы, хоросы, чудом уцелевшие во время пожара и взятия града, когда последние защитники, епископ и княжеская семья задохлись в дыму на хорах поруганной святыни. Поднесенный к гробу, он недоуменно поглядел на мать, а когда его приложили губами к холодному лбу отца, стал упираться, но не заплакал, а только крепче вцепился ручонками в шею поднявшей его кормилицы и снова воззрился вверх. А Александра и на прощании опять завывала в голос.

Из детей Александра не было Дмитрия – не успел приехать из Новгорода – да дочери Евдокии, что была замужем за смоленским князем. Старший Александрович, Василий, когда-то любимец, а после новгородских раздоров сосланный и отстраненный отцом от всех дел, угрюмо стоял рядом с матерью, иногда поддерживая шатающуюся Александру под локоть. В свои двадцать три он выглядел уже тридцатилетним. К матери у Василия было горькое чувство: не спасла, не отстояла, во всех семейных спорах всегда становилась на сторону отца. Василий старался не глядеть на младшего брата Андрея. От нынешнего княжеского совета он не ждал для

себя добра. Андрей, еще подросток, тоже бычился на Василия: «Поди, захочет теперича забрать отцов удел, будет нам с Митькой тыкать!» Так, дичась друг друга, но не отходя от матери, они прошли и в крестовую палату. Детям Александра предстояло получить (или не получить?) уделы из рук враждующих братьев-дядевей.

Ростовские князья, внуки Константина Всеволодовича, приехали все скопом, с Марией Ростовской, дочерью замученного в Орде черниговского князя Михаила, и держались особняком.

Вотчина Константина уже при его детях распалась на части. Старший из Константиновичей, ростовский князь Василько, был схвачен на Сити и, отказавшись служить Батью, погиб у Шеренского леса, повешенный татарами за ребро. Братья его – ярославский и углицкий князья – тоже умерли, передав столы потомкам. Теперь на ростовских уделах правили внуки. Из них Роман Углицкий творил богоугодные дела, строил странноприимные дома и больницы, не помышляя о большей власти. В Ярославле сидел «принятым» смоленский княжич Федор Ростиславич, женатый на правнучке Константина Всеволодича. (Властная вдова сына Константинова, Марина Ольговна, и Ксения, ее сноха, пошли на этот брак, не желая, чтобы удел, за лишением мужского потомства, воротился в великое княжение.)

Они все приехали, вдовы и внуки, захватив и правнуков, совсем еще детей. Только «принятого» – Федора Смоленско-

го – не взяли с собою на это семейное печальное торжество.

И здесь, среди вдов, была своя иерархия. Старшей по уделу, по значению и по роду была дочь Михаила Черниговского, вдова Василька Ростовского, Мария. И ярославская великая княгиня Марина Ольговна первая засемила ей на встречу. Княгини поцеловались. Марина не утерпела, вполголоса пожаловалась на «принятого», Федора Смоленского.

– Красив! – щурясь, уронила Мария вспоминая Маринино зятя и обводя глазами собрание. (Борис Василькович и сама она посредничали в этом браке, тоже не хотели отдавать удел Ярославичам.)

– Уж больно красив-то! – вздохнув, возразила Ксения. – Нехорошо. У Маши сердечко тает, а он любит ли, нет – невесть!

– Власть-то он любит! – желчно подхватила Марина. – В ином мои бояре на вожжах не удержат...

– Пойдем, вот и Александра воротилась из церкви! – мягко остановила ее Мария и, тронув за рукав Ксению: «Не сердитесь, мол, что бросаю вас, а – не время нынче», – пошла навстречу великой княгине владимирской.

Шла прямая, пристойно утупив очи долу, и лишь на миг, невольно, подумалось-колыхнулось в душе: «Так вот! Всякому свой час!» Двадцать пять лет, как погиб муж Марии, князь Василько Ростовский, двадцать пять... И тридцать пять, как они поженились: дочка всесильного тогда черниговского князя Михаила и молодой ростовский князь Ва-

силько. И было ему восемнадцать лет, а ей едва исполнилось пятнадцать. Свадьбу гуляли в Москве, на полдороге, – так Михаил настоял, выдерживая честь. Десятого февраля пировали, а утром, в потемнях, полусонную, молодой муж выносил в сани, и – эх! чудо-кони, кони-вороны двести верст как диво, как ветер пронесли ее за неполных полтора дня. И казалось, то не кони, а муж молодой на руках несет ее сквозь обжигающий солнечный февральский ветер, в голубых проносящихся тенях от стройных елей, в сверкающей россыпи снегов. И двенадцатого уже были в Ростове, в хоромях мужевых. А потом десять лет счастья, короткого счастья! Вечные походы, разлуки вечные, дети один за другим. И вот страшный 1238 год, и развеена удаль и слава, и муж, любимый, замучен татарами у Шеренского леса... А был он красив, светел лицом и очами грозен, ласков и храбр на охоте и в бою, и из тех бояр, кто его чашу пил и хлеб ел, никто уже не мог служить иному князю. И было ей тогда, молодой вдове, двадцать шесть лет! А через семь лет новое горе, горее прежнего. Отец, князь Михаил, задавлен татарами в Орде, на глазах у внука, Бориса.

Отец был и не добр, и не прост. Все уже кланялись, чего бы было и ему поклониться Батью? Да, видимо, не просто-таки! Или опоздал, или мстил Батый за унижение под Козельском, его, черниговским, Михайловым городом, где простоял без толку семь недель и положил силы несчетно. Или уж у старого отца заговорила гордость древняя, ихняя,

черниговская, гордость Ольговичей: тряслась Византия, половцы ходили под рукой, а тут – вонючим степнякам кланяться! Вместо того чтобы враз поклониться Батыю, поехал к западным государям. На Лионском соборе просил помощи на татар. А те тоже отреклись, решили отсидеться, и пришлось-таки ехать к Батыю, который не простил ему ни гордости, ни Козельской осады, ни Лионского собора... Так погиб отец Марии и стал святым, страстотерпцем, мучеником...

Ужас тех дней (Борису в год убийства деда было пятнадцать лет) на всю жизнь заронил в душу этого красивого – кровь с молоком – молодца, нынешнего главы ростовского княжеского дома, страх перед Ордой и желание всегда и везде во что бы то ни стало ладить с татарами. Он и сюда, на снем, приехал не столько ревновать о власти, как втайне хотелось бы его матери, сколько поддержать самого благоразумного из соревнователей.

Родичи, проходя, приветствовали друг друга тихим наклонением головы, говорили вполголоса. Александра, встречая, тоже склоняла голову, скупно отвечала, крепилась. Лишь когда подошла Мария Ростовская, вечная прежняя соперница, вдруг сердцем поняв, как не права была к ней все эти годы, дрогнула, точно сломалось что-то внутри. Обнимая Марию, вдруг зашаталась, повисла у нее на плечах и зарыдала, грубым низким голосом, обливая слезами плечо Марии. И оттого, что та не отвела рук, не отшатнулась, а матерински обняла Александру и гладила ее легкою сухою ладонью,

тихо приговаривая слова утешения: «Ну что ты, Шура, крепись, крепись уж! Его воля! Не у тебя одной...» – оттого Александра, распалаясь, рыдала еще громче. Князя отводили глаза, хмурились. Борис было двинулся к ним – мать решительно махнула рукой сыну: отойди, мол! Митрополит Кирилл уже спешил на голос вдовы: утешать надлежало ему.

И, оглаживая рыдающую в голос Александру, Мария прощала ее наконец сердцем за все: за гибель замученного Василька, за отца, убитого Батыем, прощала за себя: легко ли молодой вдове четверть века! Прощала за все, провидя, что и той теперь заботы падут нелегкие и жизнь беспокойная, с детьми, что скоро потянут врозь, так что и не помирить их будет самой без заступы митрополита Кирилла, который и сам-то уже ветх деньми.

«Вот он идет, однако!» Мария ласково отстранила Александру, поворачивая ее зареванным лицом к митрополиту Кириллу. И та, еще вздрагивая всем крупным, отяжелевшим телом от задавленных рыданий, стихла наконец, склоняясь перед духовным владыкою Руси.

Наконец по знаку митрополита Кирилла все уселись на опущенных широких лавках вдоль стен под иконами. Это был большой семейный совет, еще без бояр, которые тоже могли и перерешить и склонить своих князей к иному. (Были, впрочем, четверо ближайших бояр Александровых, но держались они в тени, стараясь никак не выставлять себя перед князьями и княгинями Всеволодова дома.) И, разуме-

лось само собой, что как бы тут ни судили и ни рядили – все отлагалось до ордынского, уже окончательного решения.

Александра, оправившаяся, вымывшая лицо и за ушами холодной водой, поджав губы, недоверчиво вглядывалась в собравшихся. Прежнее отчаяние волнами ходило в груди, но теперь его гасил страх за будущее. Здесь, на семейном съезде, решалось: кто же заступит место покойного? Последнего князя, который сумел удержать в руках всю великую Киевскую Русь, хоть и под татарским ярмом, хоть и отступя из Полоцкой земли под натиском Литвы, и из Киевской – от татарского разоренья, но держал и был. И кто же будет теперь?

### **Глава 3**

Ярославичи – трое братьев покойного Александра – отчужденно и ревниво ждали княжеского снema. Они не собирались отдавать власти никому. В их руках были Новгород, где сидел сын Александра, Дмитрий, Тверь и Переяславль, Кострома, Суздаль, Городец с Нижним. В их руках, пока еще, находился и стольный город Владимир.

Андрей, когда-то тягавшийся с покойным за владимирский стол, встретил тело брата еще в пути. Из Костромы примчался младший Ярославич, Василий. Последним прискакал из Твери, верхом, с ближней дружиной, Ярослав Ярославич, второй брат покойного великого князя. Успел к выносу, хоть и не близка Тверь. Деревяннo шагая (конь, третий по

счету, бешено поводя мокрыми боками, храпел и шатался у крыльца, пятная снег розовой пеной), подошел и молча, хозьяйски, остановил поднятый было гроб, даже не глянув на безропотно отступившего в сторону углицкого князя. Дети Ярослава, серые от усталости, спотыкаясь, точно запаленные лошади, ввалились следом за ним. Андрей хмуро и молча кивнул брату. «И детей приволок!» – недружелюбно подумал он. Со смертью Александра прежние союзники волею судеб становились соперниками в споре о власти. Не от одного горя великого загонял коней тверской князь!

Слишком ясно виделось, впрочем, что ростовским князьям не по силам тягаться с Ярославичами. Мелкие князья из бедных Юрьева и Стародуба были совсем не в счет.

Старшим из Ярославичей оказался теперь Андрей, но он после изгнания и примирения с братом сильно потишел, да и обеднел, и место его среди родни заступил следующий по возрасту брат покойного, Ярослав Тверской. Между ними, после первых обрядовых слов, и возгорелся спор.

Ярослав сперва упорно, потом уже сердито упирал на то, что Андрей уже был на великом княжении и уступил место Александру:

– Чего решено, не нам перерешивать статью!

Андрей, сильно сдавший за последние годы, – наследственная болезнь Ярославичей терзала его, сердце порой не давало вздохнуть, – намерился было молчать, но тут не выдержал взорвался:

– У нас кто силен, тот и прав!

И спор возгорелся.

Митрополит Кирилл смотрел на сцепившихся братьев-князей, на все это собрание большей частью молодых нарочитых мужей, полных задора и сил, и еще ох как неопытных, на это потревоженное гибелью вожака гнездо и думал: «Трудно будет с ними! Суетна власть мирская!» Он был другом и правую рукою благороднейшего из князей, когда-либо живших на земле: Даниила Романыча Галицкого, который сейчас, как слышно, умирает в Галиче, не свершив и малой толики дел своих... Да и можно ли их свершить в краткой жизни сей?! Что земная власть без духовной опоры, что есть сила без веры? Понимают ли это они?! Вот над гробом Александра делят ее, мирскую власть, и каждый мнит себя бессмертным. И Андрей, хотя печать смерти уже на челе его, и Ярослав, – долго ли и он проживет и прокняжит? Старый митрополит ясно помнил свою мирскую жизнь, когда был главным хранителем печати при князе Данииле, но как бы про другого человека. Того, прежнего, всего в кипении дел мирских, он рассматривал теперь, как взрослый ребенок, и любил: за старание, за деловитость, за ясную силу письма, за верность Даниилу, но быть им уже не мог, как не может взрослый стать дитятей. Ибо теперь он постигал то, чего мирской ежедневной жизни человек не понимает: бренность плоти и даже дел людских, хотя они часто переживают плоть, и вечность духа, что незримо живет в народе, в язы-

ке, во всем живом, духа животворящего, им же живы люди, пока они живы, имя коему – Бог.

Андрей сам понимал, пожалуй, что богатая Тверь, неодолимо подымавшаяся на западной окраине земли на путях торговых из Новгорода, Литвы и с низовьев Волги, давно обогнала прочие грады. Тверь, торговая и людная, а не порядок княжений – вот что давало силу Ярославу. Но и его Нижний богател и строился, не в пример строгому пустеющему Суздалю, стольному граду Андрея... Нет, дело было не в том! А в старой обиде, старом споре, разрешенном Александром из Орды, татарскими саблями. Сам не явился небось, приехал чист, миротворец! (Все эти годы старался о том не вспоминать, а тут взяло.) И промолчал бы, кабы Ярослав, давний союзник, не плеснул масла в огонь:

– Помогла тебе свезя да немцы твои? Немцы вон, как царь Фридрихус умер, все раскотировали, брат на брата войной идет! У франков паки нестроение великое. Аглицкий круль Генрих с Людовиком рать держат. В Тосканской земле брань велия, гости торговые глаголют: ихний нарочитый град Флорентийский взяли на щит, дак до Орды ли им? Они только обещать горазды, а на борони их не узришь! Забыл, какво оно поворотилось под Переяславлем-то? Я ить на той рати семью потерял! Детей, жену. – Ярослав всхлипнул, почти непритворно, и возвысил голос: – Где о ту пору были немцы твои?! Сам же ты потом кланялся, и тесть твой крепости разметал на Волыни, как приказали татары!

Не помогла свея; и тестю, Даниле Галицкому, папа римский не помог; и Михаил с Лионского собора привез лишь собственную гибель. Все было так, как сказал Ярослав, и – все же! Поднялся Андрей:

– А вы что сблюли под ярмом татарским? Зрите! В Египетской земле половцы полоненные, коих татары как скот купцам иноземным продавали, взяли власть. И уже от татар персидских отбились! А в Мунгалии резня! А папа римский Даниле той поры помочь предлагал! Египетски половцы, да Данила Романыч, да папа римский, да мы – вкупе и одолели бы степь!

– Половцы в Египетской земле бесерменской веры, бают, да и далеко от нас, – вмешался молчавший донине углицкий князь Роман.

– А с папой твоим всем бы пропасти заодно! – брякнул Ярослав. – Не знаешь, что мы сблюли под татарами?! Себя сохранили!

– Сохранили веру, сохранили душу народа, – примирительно подтвердил митрополит.

Андрей Ярославич затравленно поглядел в строгое лицо Кирилла, обвел глазами лица братьев и родных:

– Православную веру спасли? Спасли ли?! Какое там православие! Окрест – мордва некрещеная, лопь да чудь, а там... Литва откачнется к Риму. Гляди, и Волынь не выдержит татарских насилий и туда же под Рим уйдет. Да, да! Все лучше, чем под властью хана! В степи мерзнуть, за стада-

ми... Не видели?! Вы там, в Мунгалии, поглядите на русский полон, что, как собаки, просят объедков у ворот Каракору-ма! На русские кости, что усеяли пустыню!

Андрей губил себя, губил своей речью возможность получить великое княжение и знал это, но ему уже было все равно.

Тут уже пристойно стало вмешаться митрополиту. Впрочем, его опередил епископ Игнатий, напомнивший, что два года назад стараниями Кирилла основана епархия в Сарае и свет православной веры не токмо подает утешение нужною покинувшим дома своя, но и осияет темные души язычников, из коих иные, подобно Сартаку, сыну Батыеву, уже прикоснулись благодати.

Сартак был другом покойного, и через него как раз, силами Неврюевой рати, Александр и согнал Андрея с владимирского стола. Ростовский епископ не должен был напоминать о нем, и митрополит Кирилл недовольно чуть сдвинул брови. Андрей, как и следовало ждать, вскипел:

– Сумеете ли обратить в христианство язычников, когда сами у них под ярмом? Католики за раздорами нашими давно уже теснят православную веру. Латины Царьград, святыню православную, захватили!

Кирилл легким мановением руки остановил готового возразить Игнатия и сам ответил Андрею:

– Святыни Царьграда паки освобождены от латин цесарем Михаилом Палеологом, и вера православная не угасла! Ве-

домо то и тебе самому.

Кирилл умолк и подумал, что говорит не то. Надо бы сказать, что страдания и смерть еще не самое страшное. Стрешнее – сытое угнетение духа и разномыслие в народе и князьях. Не оттого ли недостало сил одолеть татар? Впрочем, по лицам князей видно было, что им сейчас не до Царьграда, лишь дети с расширенными глазами внимали речам, которые не часто ныне приходилось им слушать, речам, где разом поминались свея и Царьград, Восток и Запад, татары и Рим, Галич и Литва, – размахом той, пышной Руси, еще не знавшей татарского ярма, отсветом великой киевской славы проблеснуло сейчас перед ними... Да еще кто-то из ростовских княжат, в наступившей тишине, громким шепотом, вызвавшим мгновенную улыбку взрослых, спросил:

– Баба! А разве Царьград латины забрали?

– Уже прогнали их! – ответила Мария, привлекая несмышленища к своим коленям. – Молчи! Старшие говорят.

Андрей, побежденный спокойным взором митрополита, который как бы смотрел в века и говорил от будущих, скрытых завесою времен, обратился к братьям-князьям, которые, он уже знал, выберут великим князем Ярослава:

– Что ж! Спокойнее из рук татарских получать ярлыки на власть, чем от веча народного?

– А уж о наших делах не мужикам решать! – возразил Ярослав, заносчиво задирая бороду, и собрание одобритель-

но зашумело.

– А по мне, мужики лучше татар. Пошумят, да не выдадут! А татары ваши жидам да бесерменам на откуп подавали грады русские!

Помолчали. Андрей зарвался. Говорить о прошлогодней резне и о поездке в Орду Александра, отвратившего расплату за эту резню, не стоило при нем, даже при мертвом. Только митрополит спокойно сказал, паки умиротворяя:

– То прошло.

– Прошло ли?! – воскликнул, остывая, Андрей, и опять вопрос-вскрик повис без ответа. Все хотели, чтобы прошло. Не хуже Александра знали, что только тот князь, кто сам собирает доходы с мужиков, с кем бы он потом этими доходами ни делился. «Будем сами собирать ордынские выходы и сами отвозить в Орду!» – ответило молчание.

И это было ужасно. Что соглашались быть рабами, лишь бы усидеть, лишь бы по-прежнему собирать дани и выходы, а там – что потребуют из Орды: серебро ли, меха ли, хлеб, лес, людей работных, силу ратную... Лишь бы усидеть, лишь бы по-прежнему собирать дани-выходы. Померкла пышная слава Киевской Золотой Руси!

Счастье тем, кто лег под Коломной и Пронском, кто пришел умирать на Сить и погиб под Шеренским лесом, смертную чару прия, чашу позора не испив... Счастье тем, кто не пережил собственной гордости и прадедней славы не развеял, кто лег со славою в землю отчизны своей!

И утих Андрей. И, согласясь уже на вокняжение на столе владимирском Ярослава, что, впрочем, отлагалось до ханского решения, князья заговорили о своем кровном – земле и уделах.

Тут зашевелились доселе молчавшие, тут-то стало ясно, зачем навезли с собою детей и внучат.

Земля была общая, родовая, и переделялась время от времени в своем роду точно так, как переделялась земля в большой семье крестьянской. Только вместо пашни да пожен, сараев и житниц делили тут села и города, волости и доходы с волостей.

Земля лежала между Окою и Волгой, кое-где отступая от Оки – где были уже рязанские и муромские пределы, – на западе упираясь в Смоленское княжество, и, далеко перехлестнув Волгу, уходила к северу, ко владениям Господина Великого Новгорода, до Галича Мерского, до Устюга, Белозерска – то все была та же Всеволодова земля. Земля была, как шубою, укрыта лесами, всхолмлена, извиристо перечерчена полноводными реками. В лесах водился зверь всякий: и дорогой соболь, и бобры, и лисы, медведи, волки, вепри и лоси; птица озерная и боровая. В лесах были грибы, ягоды, дикий бортный мед. В реках и озерах – рыба. Земля под лесом почти не знала засух, на пожарах хлеб подымался стеной. Земля была богатая. Бабы по праздникам ходили в серебре. Богатством был хлеб, который шел отсюда и на юг и на север, в Новгород. Золотое зерно. Золотая Русь. За землю эту стоило

драться, и владеть ею хотели все.

Земля была княжеской. Княжескими были права: судить, наделять землю или отымать земли, налагать и взимать дани. У всех князей и княгинь были, как и у бояр, свои, личные села, города, земли – oprичь тех, что входили в княжение. Сел и земель этих могло быть немного (помнят в Смоленске князя-книголюба, до того истратившегося на покупку книг, что и похоронить его было не на что). Но кроме того – они были князья. И права их, княжеские, не принадлежали больше никому. И правами этими самый нищий князь был сильнее самого богатого боярина, который даже право суда в своих волостях получал не иначе, как от князя, по жалованной грамоте.

Когда появилось оно, это право? Не силой удерживаемое – какая уж сила, когда страну разорили иноверцы! А преданием заповеданное, в сознании народном сущее, что правит всегда князь.

Право это утверждалось древними киевскими князьями, которые мало пили вино да сидели в теремах, чаще мотались в седлах, в бронях, насквозь пропахшие конским потом, и ели конину, едва обжаренную над огнем костра, либо просто сырую, размягченную под седлом, на спине конской. Мотались так, рубились, строили города, покоряли земли и языки, разбили хазар, одолели печенегов, справились с варягами и создали это право, право княжеское – судить и владеть. И стали великими, святыми, древлекиевскими. Отсюда

и волюсть – власть, земля и право в одном слове. И имя было княжеское любимое Володимер, владеющий миром, то есть народом и землей.

Но и еще древнее было оно, право власти. От рода, родовых старейшин, кому в веках сородичи поклонялись, как духам дома, и кого при жизни слушались беспрекословно. Старейшины решали, кому где охотиться и кому где пахать. Изветшали, в войнах полегли вожди племен, и права их на землю и власть на земле переняли князья – Рюриковичи.

И потому они и жили как все, и были как все, а были – князья. Володетели. Ихними были право и суд. Даже дети, собранные тут матерями и бабками, глядели как взрослые, супились. Им будет когда-то также спорить об уделах, как спорят сейчас братья и отцы.

Чуть только Ярослав Тверской заговорил как великий князь и начал делить уделы – загомонили все разом. Никто ничего не хотел отдавать, а потомки требовали дележа земель, и шум стоял неподобный. «Мое!», «Обчее!» – раздавалось и тут и там.

– Вдове Александра – Переяславль, на прожиток до конца дней, и чадам ее с нею! – возгласил Ярослав, надеясь хоть так порешить спор. Но вышло еще хуже.

– Чада не мои, чада обчие! – вскричала, забывшись, Александра.

Василий Костромской не выдержал, прыснул в кулак, и тотчас гулко захохотал Михаил Стародубский, расхмылился

сам Ярослав, улыбка тронула строгое лицо митрополита Кирилла. Вдовы лукаво потупились. Ярослав огляделся и увидел вдруг неотступные очи бояр Александровых, их каменные скулы, литые бороды, руки, готовые сжаться в кулаки. Вспомнил, что покойный брат сам назначал уделы детям, и уступил.

– Ищю Москву даю! – сказал Ярослав, помедлив. Александра тяжело дышала, красная лицом. Молча прижимала Данилку к коленям.

– На Москвы спасибо, князь! – сказала сердитым голосом и неприступно поджала губы. (Как не обчие?! Без Александра что бы вы делали все тут! И покойный, царство небесное, а грозу отвел!) Она вспомнила, что князя больше нет, и всхлипнула в голос, стиснув ойкнувшего Данилку.

– Ну ты, Шура, не журишь, чад Александровых не обидим! – примирительно прогудел Василий Ярославич. Ярослав молчал, супясь. Митрополит коротко глянул на него, скользом – на вдову и, словно повторяя для вящего вразумления собравшихся князей, начал перечислять:

– К великому княжению отходят, опроче Владимира с пригородами, прежереченные грады по Клязьме, и по Волзе, и по Нерли волости, а также псковская и новгородская дани, и черный бор, и иное многое...

Перечень утишил Ярослава. Кус получался изрядный и без Москвы.

Впрочем, о новгородских доходах говорить было еще ра-

но. «И слава Богу!» – подумал митрополит, возгласив:  
– Прошу к столу, помянуть покойного!

В Новгороде сидел Дмитрий Александрович, но было ясно, что, став великим князем, Ярослав не оставит его в покое.

## Глава 4

С того памятного дня прошло пять лет. Как только Ярослав получил ярлык, Дмитрию в самом деле пришлось оставить новгородский стол, причем выслали его сами же новгородцы, не желая ссор с великим князем владимирским. Через год после похорон Александра умер Андрей Ярославич. Ярослав сразу же отрезал от суздальского княжения Городец с Нижним и дал Городецкий удел племяннику Андрею. Дмитрий сидел теперь на Переяславле уже как владетельный князь и ждал своего часа. И хотя был жив брат Василий и еще дядя Василий Ярославич сидел на Костроме, Дмитрий не без основания ждал, что после дяди Ярослава выбор падет на него. Маленький Данилка пока жил в Переяславле и один оставался неустроенным. Речи о Москве не подымали до времени, хотя и не раз вспоминали смешной возглас Александры: «Чада не мои, чада обчие» – и звали мальчика полушутя «князем московским».

Меж тем в Орде умер царь Беркай, «и была ослаба Руси от насилья татарского». Ханом сел Менгу-Тимур, который

увяз в войне с иранскими Хулагуидами и был доволен спокойствием на Руси. Страна могла жить и строиться, хоть и хирели низовские города, хоть и уплывало серебро в Орду, хоть и подрывала персидскую торговлю далекая южная война.

А годы шли, и жизнь текла своею чередой. Ярослав ударил бес в ребро. При взрослых детях женился в Новгороде на молодой боярышне с Прусской улицы, дочери боярина Юрия Михайловича, Ксении Юрьевне. Александра сильно сдала со смерти мужа, располнела, состарилась, стала похожа на купчиху. Дети переставали слушать мать, отмахивались от нее. Александра терялась, плакала и все суетилась, все ездила: во Владимир, Городец, Ростов, Ярославль...

Дмитрию Александровичу, когда его изгнали из Новгорода, шел восемнадцатый год. Воротясь в Переяславль и сев на княжение, он женился, и Данилке, еще плохо понимавшему, что это за тетя у брата Мити, которая иногда играет с ним и дарит игрушки, скоро показали маленькую девочку с забавным красным личиком, объяснив, что это его племянница, Машенька. Впрочем, играть с племянницей, как ему ни хотелось, Данилке не позволяли.

Вскоре после того, как дядя Ярослав женился в Новгороде, у брата Дмитрия появился еще один человек, теперь мальчик, Ваня, и Данилка, начавший уже многое понимать, долго разглядывал запеленатого племянника, а потом хватал ребятам, что Митина женка выродила сына и всю челядь

в доме угощали два дня и что, когда Митин сынок подрастет, они будут вместе играть.

А еще через год – Данилка уже стал ездить на учење – исполнилась заветная мечта Дмитрия: его снова позвали новгородцы на войну с немцами и поставили во главе большой рати. Переяславская дружина ушла на север, едва только сжали хлеб.

## Глава 5

С жарких лугов и цветущих гречишных полей пахло медом. Стрекозы, с легким жужжанием, неподвижно висели в воздухе. Данилка стоял в высокой траве, сжимая в потной ладошке щекотно скребущегося кузнечика. Кузнец уже высунул голову с удивленно округлыми глазами и, сердито разводя челюсти, старался вырваться на волю. Данилка был в затруднении. Конечно, можно было отломать кузнецу задние лапки, но тогда он перестанет прыгать, а интересно было, чтоб кузнечик был и целый, и свой. Поэтому он, высунув от усердия язык, уже который раз запихивал вылезающего кузнеца обратно, стараясь вместе с тем, чтобы он не цапнул за палец, а в непрерывнодвигающиеся, с капелькой желтого яда, челюсти совал длинную травинку, и кузнец, глупо тараща глаза, тотчас перекусывал ее пополам.

Иногда ветер задувал с озера, и тогда враз обдавало влажной свежестью, вздрагивали повисшие в воздухе стрекозы,

рядами наклонялись метелки высоких, уже выколосившихся трав, шуршал прошлогодний бурьян на склонах, и начинали трепетать на вешалах вынутые из ларей, ради летнего погожего дня, дорогие праздничные одежды. Солнечные зайцы отскакивали от золотого шитья наручей, парчи и аксамита, искрился жемчуг, густел или светлел в пробегающих складках фландрский бархат, что привозили к ним по вёснам богатые новгородские купцы, колыхалась над кланяющимися былинками легкая переливчатая персидская камка.

Оттуда, от вешал, доносится сдержанный говор – пришлые бабы умиляются на княжескую красоту – и, временами, громкое: «Кыш, кыш, кыш, проклятая!» – это дворовая девка отгоняет хворостиной настырную сороку, что с самого утра, вновь и вновь выныривая откуда-то сбоку, подбирается к вешалам, норовя клюнуть полюбившееся ей жемчужное ожерелье материной выходной собольей душегреи.

Данилку, впрочем, все это не интересовало. Уж куда занятнее смотреть, когда дядья, братья и тетки, надевши все эти наряды торжественные, непривычно строгие, готовятся к празднику, приему гостей или выходу в церковь.

Мамка давно уже высматривала княжича и не пораз звала его с высокого крыльца, но мальчик, всецело занятый кузнецом, только досадливо поводил шеей, когда до него доносилось очередное ласковое: «Данилушка!» – и не трогался с места. Не видел он и крестьянина, карабкавшегося к нему по склону Клещина-городка с шапкой в руках. Мужик, боль-

шой, черный, неожиданно упал в траву перед ним, и Данилка, выронив кузнечика и уже не разбирая, что выкрикивал ему вслед страшный мужик, опрометью кинулся к терему, взлетел на крыльцо и с маху вцепился в спасительный мамкин подол.

– Блажной, блажной! Бесстужий! Робенка до смерти испугал! Ужо князю-то докажу! Да не ветром ли ты носишь, как и подобрался-то?

Данилка, уже оправившись от первого страха, опасливо выглядывал из-за мамки, теперь уже с любопытством разглядывая мужика, который и вовсе не был страшный, и даже не черный, а светлый и очень растерянный. Мамка ругала его на чем свет стоит, а он только виновато кивал головой.

– Смилуйся, суда просить пришел! Опять княжевски косяри наши пожни отымают!

– К суду, дак к боярину иди! Блажной и ешь! – ярилась мамка. – Нешто ты дите оправит?!

– Чево он? – насмелился спросить Данилка, когда мужик, совсем повесив голову и не переставая виниться, попятился от крыльца.

– Пожни, вишь, у них княжевские мужики отняли! Деревни рядом, покумились, почитай, все, переженились, на беседы друг к другу ходят, а пожен век поделить не могут! Ходит и ходит... С Кухмеря он. Уж меря, дак меря и ешь, совсем безо смыслу! К робенку ему нать...

Мамка повела княжича кормить, пора была ехать учиться.

Встречу, из горничного покоя, спускался дородный боярин, дядя Тимофей, ключник брата Дмитрия.

– А ко мне мужик приходил сена просить! – похвастался Данилка, глядя снизу вверх на широкое, в холеной бороде, лицо Тимофея. Боярин, как и должно, улыбнулся. (Данилка привык, что все радовались, глядя на него.)

– Что ж, дал ты ему сена?

– Не-е-е...

Данилка потупился, застеснялся, вспомнив свой испуг, хотел было сказать «я убежал», но застыдился и сказал иное:

– Меня мамка позвала!

– Кухмерской, – вмешалась мамка, – с княжевскими все пожен не поделят. Да вон и по сю пору стоит под крыльцом! Как и на гору залез, прости Господи!

Боярин нахмурился и, проворчав: «В покое не оставят!» – двинулся на крыльцо.

Данилка, капризно увернувшись от мамкиных рук, побежал за ним, и мамка, семена, заспешила следом за княжичем.

– Ну, ты, подь-ко! – позвал боярин.

– Смилуйся! – слезливо начал мужик, но боярин гневно прервал его:

– Сказано вам не раз! От Кухмерской реки по старым рощистям да по берегу до борового лесу – то и ваше; от граней, которые я велел награнить самим, полюбовно, с княжевецкими и с купаньскими... Ну? Помню! На вражке, на березе

грань, а с той березы на вяз, и вяз на вражке, где раменной лес, а оттоль на Козий брод, и у Козьего брода дуб, и на дубе грань, и дале, до озера, до черного лесу, к Усолю, и у озера на липках грань же!

– Дак тамо как косить – пропастина вязка...

– Пропастина! Сами и того не выкашиваете, знаю я вас! А княжевски отколь сено на себе волочат? С тоя ж пропастины да с черного лесу бабы саками носят на горбу!

– Дак у княжевских кони добры...

– А не у каждого и конь! Ратные мужики навозят хоть с Семина, хоть с Усольской реки, а вдовы-ти как?

– Исстари те пожни наши были...

– Исстари! Ты еще князя Юрия вспомни! Допрежь тута одне вы да медведи и жили... Исстари! Сами делали, сами грани гранили, а теперича: «Помоги, княже, чужо добро воротить! Как меряно, так и будет! Я вам не потатчик! Все!»

Отчитав мужика, он поворотился, вновь разгладив гневные складки на лбу, потрепал Данилку по волосам:

– Грамоту постигашь ли?

– Постига-а-ю! – протянул, зарумянившись, Данилка.

– Постигай, постигай. Княжеская наука! Да гляди! Вырастешь – самому придет суд править, а приволокется такой вот: других ограбь, а ему отдай...

Данилка, начавший уже было жалеть мужика, смутился. У взрослых все было как-то непросто!

Взрослые вообще часто говорили одно, а делали другое,

и, наверно, так и нужно было для чего-то, но когда и как – Данилка еще не всегда умел постичь и частенько попадал впросак.

Однажды старший брат Дмитрий с дядей Ярославом, великим князем, заспорили, кто лучше косит. Принесли две горбуши, дядя и брат скинули зипуны и, засучив рукава рубах, склонясь, пошли по лугу, взмахивая вправо и влево свистящими кривыми ножами горбуш и в лад покачивая плечами. Брат обкосил-таки дядю и весело смеялся, когда они оба, мокрые, тяжело дыша, скинув рубахи, плескались, поливаясь ковшом из бадьи, и растирали широкие груди и мускулистые руки посконью, а слуги уже стояли со свежими сорочками в руках, ожидая, когда господа оболочутся.

– Я тоже научусь так косить! – восхищенно заглядывая Дмитрию в глаза, прокричал тогда Данилка. Но брат лишь насмешливо взъерошил ему волосы, от затылка вверх, и бросил небрежно:

– Чего захотел – косить! Мужичьей работы! Князем расти!

И слуги заулыбались снисходительно, так что вогнали Данилку в жаркий румянец стыда.

Теперь он уже различал, что была мужичья работа, а что нет. Пахать, например, это была мужичья работа, хотя и дядя и братья все умели пахать, как и косить, хорошо. Но об этом не говорилось и этим не хвастались. Зато запрячь коня, а паче того оседлать и красиво проехать верхом – этим

гордились один перед другим уже не таясь. Это была наука княжеская. Князю даже и зазорно было ходить пешком, разве в церковь на своем дворе, в Переяславле.

Ученье, впрочем, тоже было делом княжеским, о чем ему кстати напомнил Тимофей. Поэтому Данилка, уже не отвлекаясь, резво побежал на женскую половину, где он жил, по младости лет, в особой горнице вместе с мамкой, которую видел много чаще, чем родную мать, то и дело уезжавшую на чьи-то свадьбы, поминки, крестины, похороны, то мирить родичей, то на богомолье. Уписывая за обе щеки пшенную, сваренную на молоке кашу, он силился вспомнить сегодняшней урок, но от урока мысли перепрыгнули к брату Дмитрию, что поехал воевать в Новгород, а от Дмитрия к другим братьям, и он спросил, как всегда, вдруг:

– Мамка, а Василий тоже уехал на войну?

– Какой Василий?

– Старший брат.

Мамка пробормотала что-то, взясь у поставца с посудой.

О Василии здесь не говорили.

– Мамка, Василий тоже уехал на войну?! – капризно переспросил Данилка.

– Василий на войну не ездит, – нехотя отозвалась старуха.

– Почему?

– Батюшка твой так заповедал... Ешь-ко! Опоздашь!

Здесь была тайна, которую Данилка силился разгадать и не мог. Он поздно узнал, что у него есть еще один старший

брат, которого зовут так же, как и костромского дядю, Василием. Но на него рассердился покойный батя и сослал его на Низ, в город на Волге. Бати уже не было на свете, но брат жил и все как бы находился в опале, и вроде было непонятно, кто же на него сердится сейчас?

Однажды Данилка, забежав в терем, увидел там высоко-го дядю в богатом зипуне, странно похожего на брата Дмитрия. Казалось, это Дмитрий, которого слегка подсушили всего и состарили. Дядя взгляделся в мальчика и вдруг, наклонившись, спросил странно дрогнувшим голосом:

– Данилка? Не узнаешь? Я твой старший брат!

Данилка смутился и растерялся. Его ждали сверстники идти в лес, искать птичьи гнезда, и было некогда. К тому же он не знал, как приехал к ним этот чужой и не чужой человек, звал ли его кто-нибудь? И потому он ответил первое, что пришло в голову:

– Не-е-е, старший брат – Митя!

И в наступившем неуютном молчании прибавил:

– Меня робятки ждут!

– Ну иди, иди... – как-то сникнув, уступил приезжий, и Данилка выбежал, испытывая разом и стыд, и облегчение. А вечером, воротясь из лесу, он услышал в столовой палате многие голоса, прокрался и, осторожно приотворив дверь, зашел. Гость сидел за столом с братом Дмитрием и боярами и о чем-то серьезно разговаривал. По лицам Дмитрия и прочих Данилка сразу понял, что гость его не обманул, но на

него, Данилку, Василий уже не поглядел, быть может, намеренно не заметил мальчика, в обиде за давешнее. И Данилка, которому теперь очень хотелось поговорить с незнакомым братом, помявшись у дверей, тихо вышел, испытывая раскаяние за свою утреннюю грубость.

Мысли о Василии приходили к нему изредка и, как теперь, ни к селу ни к городу. Впрочем, Данилка привык, что взрослые, даже мать, отмалчивались при вопросах о старшем брате.

– Мамка, квасу налей малинового! – потребовал княжич, управившись с кашей. – Пирогов побольше наклади! – приказал он, видя, что мамка собирает ему в холщовую сумку завтрак.

– Всех не укормишь! – пробурчала мамка в ответ, однако пирогов добавила.

«Надо Федьке дать для сестренки, – думал между тем Данилка, опоясываясь. – Кажись, именины у ней». Для именин пирогов было мало. Он поискал глазами, что бы еще – «Куклу нать бы!». Вспомнил, что у него валялась в коробьи кукла, привезенная ему когда-то матерью из Владимира.

– Мамка, куклу ищи! – потребовал он.

– Окстись, пошто?

– Так. Приятеля сестренке. Живо! – Он топнул от нетерпения.

– Дороги подарки делаешь! – пожалела мамка, когда кукла в крохотном парчовом саяне перекочевала из коробьи в

холщовую сумку княжича.

– Тебя не спросил.

Данилка запихал куклу в суму вместе с Псалтирью и побежал к выходу. На бегу подумал, что обидел мамку ни по что, и прокричал уже с крыльца:

– Они мне-ко подарки дарят, а я что – хуже? Я – князь!

Старый ратник с конем уже ждал его у крыльца, чтобы на седле отвезти в училище.

По нынешним неуверенным временам во Владимир отправлять мальчика не стали и учили дома, в Переяславле, при Никитском монастыре, где Данилка учился чтению, церковному пению, счету и письму и куда его каждый день возил из Клещина-городка пожилой ратник, ожидавший потом княжича в монастырской гостинице. Тут был старый спор, в котором Данилка пока еще не добился успеха. Он уже умел ездить на лошади самостоятельно, но в училище, как ни просился, верхом его не пускали и по-прежнему, как маленького, возили на седле. Некоторым утешением было то, что конь был хорош: настоящий боевой конь, темно-гнедой, рослый, с длинною гривой и хвостом, крутошей, широкогрудый, – конь прямо из сказки. Садясь, Данилка втянул ноздрями густой конский дух и погладил коня по морде. Конь, мотнув головой, ответил на ласку.

– Поехали!

От крыльца взяли рысью. Запаздывать в монастырь не полагалось. Спустились под угор, обогнав медленный кре-

стьянский воз, мимо яблоневого поспевающего сада, мимо зарослей дубняка и орешника, на нижнюю, приозерную дорогу. Миновали длинные, уходящие в озеро причалы, где дремало несколько рыбацких лодок. (По весне в этом месте, на мелководье, строгой бьют щук, что ходят в тине у берега с молосниками, а ночами даже ползают по траве, на самом берегу.) Обогнали еще несколько возов, наверно, из Кухмеря или даже из Купани (лошади были незнакомы, и, подымаясь на взем, опять густо заросший дубняком и кустами, у самого монастыря нагнали княжевых ребят, что тоже торопились в монастырь, в училище. Те весело окликнули Данилку, он так же весело отозвался.

– Приятели? – спросил ратник, когда мальчики остались позади.

– Угум. С Княжева села один, а другой с Криушкина. У того вон, что с Княжева, у Степки, батя вместе с Митей уехал в Новгород, на войну.

– Это какой же? А! Прохора сынок! Знаю, мы с им, с Прохором, вместих от татар спасались.

– Побили вас татары?

– Татары, они всех бьют! От его и не ускачешь, на ровном-то ежели... К примеру, в степи... Да.

– А зарубить? Топором: ррраз!

– Зарубить – с им съехаться нать, а ён как бес, и тут и там. Кони резвы у их, страсть! И из луков садят на скаку без промаха... Тут и заруби! Самого прежде на аркане поволокут...

О чем еще спросить, Данилка не знал. Очень не вязался рассказ с теми татарами, которых он знал в Переяславле. Те ходили вперевалку, в богатом платье, а ездили хоть и хорошо, но всегда неспешно: гордились убранством коней. Главный татарин жил в Переяславле, в тереме, на княжем дворе. Для него и для его хана, который был далеко, в Золотой Орде, в городе Сарае, собирали дань, ордынский выход. С Данилкой татары были добрые, зазывали к себе, выпрашивали, учили словам татарским, угощали вареной кониной. Но мамка каждый раз уводила его и долго вычитывала, запрещая ходить к «баскакам» и «нехрестям», как называла она татар. И прочие взрослые тоже старались прятать Данилку от «нехрестей» (почему и держали обычно на Клещине-городке, подальше от переяславского баскака), а после посещений ордынского двора тревожно выпрашивали: о чем это с ним говорили у татар? Татар не любили все взрослые, но при встречах были очень ласковы с ними, а мужики низко кланялись главному татарину, и это было совсем непонятно – он же не князь?!

– А они нехристи? – спросил погода Данилка.

– А всякие есть! Есть и такие, что крестятся по-нашему, только не поймешь у их, словно бы не русская вера...

Подъезжали к монастырю. Данилка привычно нагнулся. В низких воротах въездной башни, казалось, головой можно было задеть бревенчатый свод. Сразу после ворот, под деревьями у поварни, он спрыгнул с седла и, разминая ноги, по-

бежал к табунку разномастно одетых ребяташек, что ожидали учителя, отца Софрония, стоя на папёрках монастырской островерхой церкви, из открытых дверей которой доносилось стройное монашеское пение. «Да исполнятся уста наша хваления твоего, Господи, яко да поем славу твою... аллилуйя, аллилуйя». Был уже конец службы.

Мальчики горячо спорили о чем-то, а тут, завидя княжича, утихли, только продолжали поталкивать один другого, кулаками разрешая словесный спор. Данилка, торопясь обрадовать друга, подбежал к Феде и передал тому куклу и пшеничные пироги. Ребята тотчас остолпили их, разглядывая куклу, а Федя застенчиво и грубовато постарался поскорее отобрать у товарищей и спрятать дорогой подарок. Дружба с княжичем была трудна для него, вызывая то зависть, то насмешки сверстников, прозывавших его за глаза «московским боярином».

– Выбирают! Выбирают! – раздался снова громкий шепот в толпе.

– Сопли подотри!

– Выбирают!

– Княжича, вон, спроси!

До появления Данилки у ребят шел спор о новгородском правлении: выбирают ли там князя сами горожане или нет?

О Новгороде вообще говорили много. Иные из ребят были дети новгородских выходцев, пришедших сюда с князем Александром. Были в округе деревни новгородцев, пересе-

лившихся под Переяславль с незапамятных времен, как, например, Мелетино, но твердо помнивших свое новгородское прошлое и сохранивших родной говор. По веснам приплывали в Переяславль богатые новгородские купцы, тревожа воображение рассказами о дальних полуночных землях и заморских городах. А нынче, когда переяславская дружина ушла с князем Дмитрием под Новгород, воевать с немцами, разговорам и спорам не было конца.

Теперь ребята приступили к княжичу, требуя разрешить спор: природный ли князь в Новгороде или его выбирают сами горожане, как хотят?

Данилка сам знал о Новгороде немного. Туда ездили и брат и дядя, говорили про Новгород то со злобой, то с обожанием, но на его настойчивые вопросы – правда ли, что там каменные терема и храмов больше, чем во Владимире, что епископа и князя горожане выбирают жеребьями? – бросали только:

– Брешут!

Либо:

– Вырастешь, узнаешь!

Брат Дмитрий о выборах князя по жеребью сердито отверг:

– Великий князь надо всей землей и над Новгородом тоже! Отец им воли не давал!

Однако самого Дмитрия новгородцы отослали. Впрочем, пригласили дядю Ярослава, великого князя.

Данилка пересказал ребятам слова Дмитрия (сомневаться в княжеских правах перед ними он не хотел), и разом посыпалось:

– На вот! Выкуси!

– А мне батька баял!

– Князь Митрий Саныч лучше твою батьки знат!

– А нонеча его пригласили, да? Пригласили, да?! – не сдавался спорщик, которому уже пару раз нахлобучивали шапку на глаза и награждали тумачами и щипками.

– Они, верно, позвали, дак того и зовут, кто великий князь! – постарался смягчить спор Данилка, хотя не очень понимал сам, как это происходит: брат Митя не был великим князем, однако его позвали старшим над ратью, а дядя Ярослав, говорили, гневался, но тоже послал полки от себя, из Твери.

Пели уже «Многая лета». Ребята подобрались, стали посторонь, чтобы не мешать выходу из церкви. Резче стало видно, кто – чей. Многие были дети священников и дьяконов. Это были свои в монастыре и стояли вольнее. Боярчата, одергивая платье, выступили вперед. Кто попроще – дети купцов или простых ратников, вроде Федьки из Княжева, бедно одетые, в лаптях или кожаных опорках, – те отступили, невольно пряча драные рукава долгих, не больно чистых рубах.

Разная судьба ожидала их после училища. Одни, кое-как научась разбирать буквы, уйдут, если не окажут великого

прилежания, на счастье родителям. По таланту через книжное научение и из бедности можно выйти в люди. Другие потом заступят место родителей, станут дьяконами и священниками. Боярчатам и княжичу придется еще учить «Мерило праведное», «Правду Русскую» и «Номоканон» – книги законов; читать летописи, постигая историю родной земли, а также еллинскую хронику Иоанна Малалы, еврейско-римскую Иосифа Флавия и всеобщую Георгия Амартола, по которым, как и по Библии, познавали историю мира. Этим, окончив ученье, предстояло началовать землю, править суд, собирать подати, водить рати.

Пока же они были все одинаковы перед учителем и, когда не в меру баловались, перед тростью наставника.

Данилка в окружении сверстников не величался, был как и все. О княжеском достоинстве ему чаще, как сегодня, напоминали другие, чем он сам вспоминал. Бегал вместе со всеми на деревню и в лес; весною с мальчишками таскал солому из загат, когда на Ярилиной горе жгли Масленицу и взпуски прыгали через огонь.

Учился он неровно. Петь по Псалтири начал сразу: наслушался в церкви и голос имел верный. Буквы же поначалу складывал с трудом. И рассказы священника запоминал по-разному. Что мог себе представить, то легко. Например, про Иону, которого проглотил кит, такая большая рыба. В Клещине-озере, сказывали рыбаки, есть щуки, что тоже могут проглотить человека. Им уже лет по триста, живут в глубине,

все белым мохом обросли. Только у щук зубы, а у кита, наверно, зубов нет, иначе бы он разжевал Иону. А чего иного Данилка долго не понимал: про Авраама и Исаака или про то, как фараон разгневался на евреев и Бог за то насылал на него казни, а затем потопил все войско фараоново. Тут была опять какая-то неясность, как и все у взрослых. Почему, если Бог был за них, евреи не победили фараона и не захватили сами страну Египет? Вот на русских разгневался Бог и наслал татар, и уж сидят тут, не уходят! И почему фараон так упорно хотел их удержать, зачем ему нужны были евреи, если сам же он не хотел их иметь в Египте? Ушли бы – и хорошо! Ну что они золото унесли, дак из-за золота все войско губить и весь свой народ тоже не стоило!

Учился он, впрочем, прилежно, почти не баловался, разве уж когда тело затечет от долгого неподвижного сидения. Правилась тишина в монастыре, суровая простота и благолепие. Тут и он и другие дети уже были не княжич, не боярский, посадский ли отрок, а все как бы равны и никто ни над кем не величался.

Монастырь был сплошь деревянный, и уже не раз сторал дотла. Говорили, что в пору Неврюева разоренья погибло много книг, но книг было много и теперь. Их хранили в келье настоятеля и на хорах церкви. И там можно было, пробравшись узкой лестницей, поглядеть на темные кожаные корешки, потрогать медные или серебряные пластины и накладки дорогих на престольных евангелий, вдохнуть душноватый за-

пах кожаных книг, ни на что больше не похожий, запах, напоминающий чем-то суровые лики святых праведников на иконах в церкви.

Отец Софроний вышел из церкви последним, строго оглядел ребят и повел их гуськом через монастырский сад. (Кельи стояли кружком вдоль ограды монастыря и были полускрыты деревьями.) Училище помещалось в келье наставника, разгороженной пополам. В одной половине жил он сам, а в другой учил детей.

Они сидели все вместе, на низеньких скамьях, положив раскрытые книжки (у кого были) на левое колено, и слушали.

– Кто первые перед Господом? – строго спрашивал священник и сам же отвечал: – Последние здесь тамо будут первые. Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Что есть нищета духовная? Смирение перед Господом! Паки и паки надлежит знать, что все, нам дарованное, от Бога и ничего доброго не возможем мы свершить без него! И плоды земные от Божьего изволения произрастают, человек же лишь надежду имеет на Божий промысел, кидая зерна в землю. И всякое дело торговое: возможет ли купец наперед уведать судьбу свою? И сама жизнь наша, живота скончание, в руце Божьей. Кто знает о дне и часе своем? Пото и надлежит каждодневно быти готову к отшествию в мир иной, не возноситься разумом и гордынею, любить ближнего и Господа своего! Могут ли богатые быть нищими духом? – еще строже говорил он, глядя уже теперь на одного Данилку, и

отвечал: – Могут, ежели помыслят, что видимое богатство есть тленное и скоропреходящее и отнюдь не заменяет скудости благ духовных!

После наставительного слова отец Софроний обыкновенно давал детям передохнуть, а потом начиналось пение. Пению иногда учил дьякон Евтихий, большой, с большим, густым голосом. Евтихий указывал палочкой (пели строго в лад), когда следовало кому вступать, а при нужде и пребольно щелкал неслуха той же палочкой: не зевай!

Воротясь из монастыря, Данилка снова попадал в сложный мир взрослых. Старшие братья, Дмитрий и Андрей, приезжали то веселые, то хмурые, злые; походя ласкали его или супились, и каждый раз было непонятно отчего. Ссорились из-за уделов, бранили ростовских и смоленских князей, деятельно собирали казну, а потом ездили на поклон к татарскому царю, в Орду, и увозили скопленное серебро. Были ли они нищими духом? Мать, приезжая домой, баловала, задаривала сластями и игрушками. Данилка долго после раздраивал сверстникам расписных коней, глиняные свистульки, изюм и печатные пряники. Бояре, походя, звали его «московским князем» и, говоря так, щурили глаза и добродушно-насмешливо поглядывали на мальчика. Он еще не догадывался о жарких спорах, разгоревшихся вокруг уделов после смерти Александра, ни о том, что дадут ли ему вправду Москву – еще далеко не решено. Чужалось, впрочем, и тут что-то непростое, что пока еще мало занимало мальчика. В Москве

он не был ни разу. Ездили туда старшие. Говорили скупо: «Охота там хорошая!» Где-то под Москвою ломали камень еще при князе Юрии Долгоруком. (Князь Юрий строил Переяславль и белокаменный собор на площади. Князь Юрий был еще до татар, давно, и о нем, как и обо всем, что было до татар, вспоминали с уважением.) Теперь уже не ломали камень и соборов не строили, не до того было.

Доходы с Москвы пока шли в казну великого князя. Но на прямые вопросы мальчика ему неизменно отвечали, что Москву заповедал ему сам батюшка, покойный князь Александр, а как он решил, так и будет. Со смерти Александра прошло всего пять лет, но уже стали преданием скорбные слова митрополита Кирилла: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли». Об Александре вспоминали как о хозяине, при котором все шло как надо и каждый был на своем месте, указанном его властною рукой. Когда ссорились старшие братья, Дмитрий с Андреем, тоже всегда поминали батю. Андрей кричал: «Паче отца хочешь быти!» И это был укор, всем понятный. Паче отца не мог быть никто, даже дядя Ярослав, великий князь.

Данилка отца совсем не помнил. Силился представить, и не мог. Но твердо знал, что отец его был «солнце земли Русской», и этим очень гордился.

## Глава 6

Княжево, или, по-старому, Выселки, родная деревня Фе-ди, Данилкина приятеля, стояла от Клещина-городка все-го верстах в трех, прячась за перелесками от сторонних недобрых глаз. Княжевым селом или просто Княжевым ста-ли звать Выселки с тех пор, как Александр начал тут селить ратников, приведенных им из Новгородской земли.

Батыевы татары Княжево прошли стороной. Их главные рати торопились от стольного Владимира к Волге. Сожжен-ный Переяславль был тотчас брошен ими после торопливо-го грабежа. Жители отсиделись в лесах. Дела той, тридцати-летней давности, старины уже мало кем помнились, только старуха Микулиха любила рассказывать (она была родом с Кле-щина), как у них при Батые сгорел дом и всего достояния осталось у матки горшок золы, набранный на родимом пепе-лице.

К тому же казалось сперва, что беда минует лихолетьем, как мор, как засуха. После уж, когда великому князю при-шлось ехать в Орду на поклон, а за ним потянулись и прочие князья получать свои уделы из рук татарских, горькая прав-да стала явью. Начинался долгий (и еще не верили, что дол-гий!) плен Золотой Руси.

Неврюева рать оказалась для княжевских мужиков куда страшнее. Разгромив Андрея, татары рассыпались по дерев-

ням, зорили и жгли все подряд: избы, стога, скирды соломы и хлеба. Заезжали в чащобы и слушали – не замычит ли где корова, не твякнет ли глупый пес, не заплачет ли ребенок или заржет, почуяв конский дух, крестьянская коняга? Тогда кидались на голос, выволакивали плачущих баб с ребятишками. Скот резали. Людей угоняли в полон. Деревни после татар совсем обезлюдели, и Александр, воротясь из Орды, заселял их вновь.

В Княжеве после Неврюевой рати оставался, чудом не сгоревший, один дом. Там и собрались, с детьми и скотом, все уцелевшие жители. Спали на полу, вплоть друг к другу. Ночью, в потемках – не ступить. Ели толченую кору, мох, весной обдирали березовый луб, толкли щавель, копали корни. Иные объедали, выкапывая из-под снега, мясо павших лошадей и коров – то, чего не доели волки. С тухлятины пропадали животами, валялись в жару. Кто и умер, не дотянув до весны.

Рассказам этим – за ржаными куличами с творогом, за щами и студнем – как-то даже не верилось. Вспоминали и сами удивлялись:

– Слушай, Варюха, няуж было все?! Ноне и не веритце, как переживали! Теперь-то чего не жить! Хлеб есь, все есь...

– Мам! – спрашивал Федя из темноты. – А мы были с тобою?

– Вас ищо и не было! Куды бы я с вами-то, пропала совсем... – отзывалась мать. Все они у нее – и старший Грик-

ша, и Федя, и маленькая Проська – родились уже после Неврюевой рати.

В Княжеве с той поры стало особенно много вдов. Впрочем, вдовы прибавлялись и после. Мужевья погибали на ратях, вдовы в одиночку растили детей. У Козла, приятеля Федьки, отец пал под Юрьевом, и Козел родился спустя полгода после его смерти. Болтали даже, что Козел не от своего батьки, однако Фрося, matka Козла, ни в чем таком замечена не была. Жила она опрятно и сама была опрятная, кругленькая, невысокого роста, ходила чуть переваливаясь, утицей, и все жаловалась, что по ночам ее душит шишко. Работала Фрося, в очередь с другой бабой, птичницей на княжом дворе в Клещине. К матери приходила на беседу. Сиделась, оглаживая на коленях старый, из пестрой крашенины костыч, вздыхала, сказывала:

– Корова ревит и ревит. Ни у кого в деревне не ревит, только у меня. Така ж противная! Скажут, что у Фросюхи корова ревит, верно лопать хочет! А есть у ей корму-то!.. Нонече шишко опеть душил. Навалитце и душит. Вот сюда! – показывала она на ожерелок. – Мохнатенький такой, а чижо-ольый!

Фросю мать жалела, а вторую птичницу, Макариху, всегда бранила за глаза. Макариха заходила то за горшком, то за кичигой, то веревки попросить. А мать потом гремела посудой и сердито недовольничала:

– Мужик, што конь, и сама кобыла добрая, а веревки не

могут нажить! На свадьбу придет, дак и сапоги в куричьих говнах. Тыпфу! Что за люди бесстужие!

Матерь уважали. Всегда звали на свадьбы и праздники, даже из других деревень. Когда приглашали, уважительно кланялись, а она отвечала не вдруг и сурово:

– Ладно. Управлюсь вот!

После, вздыхая, доставала дорогое праздничное платье из тафты, с парчовыми оплечьями, кокошник, высокий и рогатый, шитый серебром, с жемчужными висюльками надо лбом. Отец тогда и говорил с матерью как-то иначе, и она отвечала ему строго и важно.

Кроме того, мать заговаривала кровь, лечила телят, знала травы.

Иногда приходила задушевная подруга материна, Олена. Вдвоем с матерью они пели красивыми голосами долгие песни. Обычно без отца. Отец никого не любил. При нем гости к матери только забегали. Он тяжело глядел на приходящих, и женки ежились, скоро вставали, роняя:

– Ну, я побегу! Гости к нам!

– Чего им от тебя нать? – спрашивал угрюмо отец, твердо, по-новгородски произнося «г».

– Чего нать, чего нать! И побаять нельзя! – сердито отвечала, швыряя горшки, мать и ворчала себе под нос:

– Навязался ирод на мою голову!

– А ну! – рычал отец, ударяя изо всех сил по столу, и Федя прикрывал глаза от страха, что батя сейчас начнет опять бить

мать и страшно кричать.

Легко становилось, когда приходил дядя Прохор. Он был свойственник матери и один звал ее не Михалихой, по отцу, а Верухой.

– Эй, Веруха! – кричал он еще с порога веселым голосом, и сразу в избе становилось словно просторнее. Дядя Прохор был высок, сухощав и широк в плечах, с лицом, словно стесанным топором, на котором тоже как прорублены были прямой нос и прямые брови над маленькими, всегда чуть с прищуром, умными глазами. Борода у него слегка кудрявилась и была светлая, легкая, а на щеках, у скул, двумя плитами лежал каленый румянец. Феде он иногда кидал походя:

– Что, Федор, растем?!

И не понять было: шутит или взаболь спрашивает.

У него у первого между клетью и избой был сделан навес для скота, забранный с боков крупной дранью. Сельчанам он говорил кратко:

– Чище! Не в навозе жить! – Прибавлял: – И коровам теплей!

Мужики задумчиво чесали бороды, соглашались:

– Коровам теплей, да.

Дядя Прохор один не боялся отца, по часту спорил, убеждал в чем-то, поругивал, и отец заметно тишел при нем.

Ихний михалкинский дом был устроен как у всех на селе. Пол у печи, где зимою стояла корова и держали телят и ягнят, – земляной. Топили по-черному. Стая для скота бы-

ла на дворе – просто навес на столбиках. На него осенью накладывали стог сена. Туда же, под навес, ставили телеги и сани, сохи, бороны и иное что. У них было две лошади и жеребенок. Одна, на которой работали, Лыска, а другая – отцов конь, Серко, которого берегли и на котором батя ходил в поход. Еще была корова с телятком и овцы. Были куры. Маленький Федя однажды побежал за цыплятами, и наседка налетела и чуть не выцарапала ему глаза. Куриц с тех пор Федя долго боялся, а лошадей не боялся совсем. Они тепло дышали и трогали мягкими губами. Осторожно брали хлеб из рук. Взрослые говорили, что лошадь ни за что не наступит на человека, если ее не погнать или не испугать. Федя рано научился с забора забираться на спину Лыски и так, повиснув и вцепившись в гриву ручонками, ездил – катался по двору. Когда он падал, Лыска останавливалась и осторожно обнюхивала его. Мать, поворчав для порядку, махала рукой. Отец, походя, давал затрещину, от которой долго звенело в голове. Бабушек в доме не было. Мамину мать увели татары, а батина родня вся осталась на Новгородчине.

Долго Федя знал только свой дом и двор. Редко выходил за ворота поглядеть, как мальчишки постарше играют в рюхи. Дома они с братом сражались в бабки, приговаривая шепотом: «Горб!», «Яма!», «Нет, горб!» – и пихали друг друга, но не очень, чтобы отец не надал тому и другому зараз. Еще иногда ходили к дяде Прохору, и тот, усаживая, говорил:

– Садись, ешь, мужик!

Там было много ребят и играли в бабки все сообща.

Когда Федя стал постарше, мир раздвинулся. Бегали с ребятами за околицу, играли в рюхи и в горелки, дружили и дрались с криушкинскими.

Очень любил Федя уходить смотреть на озеро: далеко-далеко! И там зелено, где Вески, на той стороне, и там, где, приглядеться, виден Переяславль, город, куда мать ходит иногда продавать студень и масло и один раз уже брала его с собой. Тогда ехали на телеге, отец запряг Серка. Везли тушу быка, а оттуда набрали всего-всего: и кадушек, и лопотины разной. От народа на торгу у Феде закружилась голова, и он только и запомнил гомон и пестроту. Ему купили глиняную свистульку, и он свистел всю дорогу, а Серко смешно прядал ушами.

Озеро было то светлое, спокойное, то все в гребешках, как синее вспаханное поле. По озеру можно было уплыть в дальние дали, туда, на Торговище, на Усолье и дальше, в Новгород. В Новгород надо было плыть много дней. Оттуда приходили весною на длинных челнах под парусами новгородские купцы, гости торговые, и тогда начинался праздник. Купцам продавали хлеб, получали от них разные товары, заморские ткани, украшения, замки, серебро. Старших гостей принимали на княжом дворе. Гости гуляли и пили пиво. Дарили бабам платки и ленты девкам. Уезжали купцы, и все возвращалось на прежнее.

Село, хотя и княжеское, жило исстари заведенным крестьянским обычаем, мало чем отличаясь от соседей. Так же

гуляли, так же к Рождеству, на Велик день и в Петровки платили налоги. При этом взрослые ругались, меряли и считали, слезно плакались, а потом, успокоившись, пили пиво и поили приезжих сборщиков.

В праздники мужики собирали братчину, на Святках катались по улице на разукрашенных лошадях с колокольцами и лентами в гривах.

Близко заводились свадьбы. Дети бегали смотреть, визжали от восторга, когда взрослые останавливали жениховый поезд. Все взрослые были красные, жарко дышали и много смеялись. И их, малышей, тоже охватывало какое-то волнение. Что-то происходило, не совсем понятное, кроме того, что Машуха или Варюха выходила замуж за Петьку Голызу или Проху Песта, которых в эти дни звали не Пестом и не Голызой, а Петром Палычем и Прохором Иванычем, да еще и князем молодым, а невест – княгинями. От этого, не совсем понятного, и было веселье, и блестящие глаза, и жаркое дыхание взрослых, заковыристые шутки мужиков и алые лица девок.

Масленицу жгли на Ярилиной горе, под Клещином-городом. Собирались все, и стар и мал. Смотреть приходили и боярышни, и княжичи с Клещина, иногда приезжал даже сам князь Митрий, и его в эту пору встречали как своего, добродушно шутили, кричали необидное, девки, что посмелей, кидали снежками.

Потом наступала весенняя пора. Небо голубело, раскис-

ший снег переставал держать полозья. Ручьи перегораживали дороги. Уже за околицей было не пройти. Смельчаки, что пытались добраться в Криушкино, по пояс проваливались в ледяную подснежную воду. Когда паводок сходил и подсыхала земля, отец ладил соху, мазал дегтем ступицы колес, поварчивая, чинил упряжь. Брат помогал отцу. Федя же забирался под навес, «катался» на телеге, сам себе изображая и седока, и коня.

А когда совсем просыхало и становилось тепло, вечерами начинались хороводы. На Троицу девки завивали березку, кумились друг с другом, жарили яичницу – про себя, парням не давали. Зато ребята – подростки – со смехом и шутками волокли потом обряженную березку топить в Клещине-озере. На хороводы девки одевали очелья, цветные сарафаны; ходили кругом, неспешно, и дивно было слушать их стройное пение.

Когда начиналась полевая страда, веселье и игры сдувало. Трудились и стар и мал. Федя тогда сидел с Проськой, а брат с отцом ратовали в поле. Мать возилась на огороде, изредка забегая в избу и покрикивая на Федю. Отец приходил пахнущий потом и конем, ел молча, рыгал, оглядывая запавшими темными глазами стол. Руки у него слегка дрожали. Бросал что-нибудь:

– Шлея лопнула. Простояли. Мать их... – Или: – В том поле, под горкой, сыровато. Ищо липнет. Едва вспахал...

Федю посылали с хлебом и крынкой молока на поле. Он

нес осторожно: отцов завтрак нельзя было пролить. Огибал околицу, выходил на полевую дорожку. Со всех сторон доносились крики ратаев. Мужики дружно пахали, а когда Федя и другие ребята, тоже спешившие с узелками и кринками каждый, подходили к своему батьке, работа прекращалась. Кто-то еще доводил борозду, другие же, оставя коня, шли к борвке, сложив ладони, кричали тому, кто еще пахал:

– Охолонь!

И тот, озрясь на мужиков, тоже оставлял рукояти сохи и распускал чересседельник. Завтракали.

Федя стоял и смотрел, как отец, двигая щеками, жадно ест и пьет, как ходит вверх-вниз его борода, как, так же истово, ест, сидя рядом с отцом на подстеленной дерюге, брат, как Серко, с ослабленной сбруей, сунув морду в торбу с ячменем, тоже жует и бока у него двигаются, как борода у отца. Стоял, иногда переминаясь, – влажная земля знобила, – и боялся сказать хоть слово: не только батя, но и брат сейчас отдалялся от него важностью труда. Феде не давали тут еды, на него не смотрели даже, и он понимал, что так надо. Кончив, отец вытирал рот тыльной стороной ладони, отряхивал усы и бороду, слегка отрыгивал и чуток сидел, полузакрыв глаза. Потом потягивался весь и окликал Серко: «Время!» Тот шевелил ушами, кивал, взглядывая на отца, перебирал ногами, мол, понимаю, но не переставал есть, лишь быстрее начинал жевать, громче хрупая ячменем.

– Время! – говорил отец, подымаясь, и, подходя к коню,

ласково оглаживая его рукой, а потом, прикрикнув, затягивал чересседельник, снимал с морды торбу с ячменем, передавая ее брату, поправлял узду и брался за рукояти сохи. Пора было уходить, забрав порожнюю крынку и плат, но Федя еще медлил, дожидаясь, пока поднятая отцовыми руками соха не войдет, блеснув сошником, в землю, Серко не вытянется, горбятся и напрягая задние ноги, и свежая борозда не начнет трескаться и крошиться, разваливаясь темными от влаги комьями остро пахнувшей земли, а брат побежит рядом, понукая и проваливаясь босыми ногами в рыхлую вспаханную зябь.

Потом боронили. Потом отсыпали зерно, меряя мерами. Мать крошила в первую меру припрятанный черствый кусок пасхи – для первого засева. Отец вешал берестяную торбу себе на шею, крестился, трудно складывая черные твердые пальцы. Начинался сев. Федя с братом тогда бегали по полю, пугали грачей. Грачи, если выключают зерно, сделают голызину, и хлеб в том месте не родится. Засеяв, снова боронили, гоняли овец по полю, втоптывали зерно поглубже, от птиц.

В июне, во время навозницы, парни бегали по деревне и обливали всех девок водой. Навоз возили до Петрова дня. Кончив возить, справляли навозницу, праздновали всей деревней, пили, собирали столы. О Петрове дни уже начинали косить. Косить ездили далеко, за Кухмерь, к Усольской реке, и вечно ссорились из-за пожен с мерянами. Отец готовил сразу три-четыре горбуши и, работая, менял их. Грикша

только еще учился косить. Матка гребла. Грести и она, и другие женки надевали хорошее, цветное, новые лапти, яркие платки. Копны им ставить помогал дядя Прохор, и они ему тоже помогали, ходили грести. Между делом Федя с братом возились с Прохоровыми ребятками, катались в сене, хоть это и не дозволялось: сено мялось, да к тому же в здешних сырых местах часто водились змеи. Раз Грикшу ужалила гадюка, и мать перевязывала его, прикладывая заговорной травы. Брат оправился, но долго хромал после того.

За сенокосом подходила осенняя страда. Пахали пар. Скоро поспевала рожь. Уборка хлеба была праздником. Зажинать посылали – у кого легкая рука. Обычно просили Олену Якимиху. У той была легкая рука, после нее и работалось легче. А то говорили: «Нынче Дарья зажинала – я руку обре-зала! И я! И я!» У той рука была тяжелая. После же Олены, уверяли, и не обрежешься, и спина не болит. Первый сноп украшали васильками, ставили в красный кут.

На уборке работали тоже не щадя живота, жали и бабы, и мужики, дети и то таскали снопы, но было весело. Радовали возы с хлебом, тугие бабки, расставленные по полю, радова-ло обилие и спокойная, сытая – ежели не случится огня или рати – жизнь на год вперед.

Федя, маленький, любил прятаться в бабки, между сно-пов. Солома прохладно и скользко щекотала разгоряченное тело, в бабках хорошо пахло сладковатым духом зерен, было полутемно, и он подолгу сидел, наслаждаясь тишиной.

Уже подросши, он вспоминал с удовольствием эту свою забаву и жалел, что бабки стали такие маленькие, что под них уже и не подлезть.

Хлеб молотили помочью. Мать всегда со снохой, Дарьей, с Оленой и с Прохоровой женкой – в четыре цепа. Цепинья в лад ложились на снопы, будто плясали, и, со стороны, работа была веселая и вовсе не трудная, хоть взрослые к вечеру и валились с ног, засыпали, едва осилив ужин.

После хлебов убирали гречиху. Потом копали огороды. Позже всего, уже когда начинались осенние дожди, принимались за льны.

Лен сперва дергали, ставили в бабки, сушили и околачивали вальком семя; потом расстилали на лугах, мочили, мяли, трепали... В Великом посту уже расставляли в избе ткацкий стан и начинали ткать. Ткали весь Великий пост, семь недель. А потом приезжали купцы, мяли и рассматривали портна, увозили в дальние страны. Из толстин шили себе порты и рубахи с приятным запахом льна, шершавые и ласковые для тела, которые поначалу, пока не обтреплются, приходилось очень беречь, особенно от дегтя, чтобы не заругалась мать.

## Глава 7

Поздняя осень. Лес багряный и желто-зеленый. В инее поля, убеленные, как сединою, в окружении желтого пламени

берез. Тишина сиреневого неба. Хлеб убран. Птицы улетели. Твердеет земля по утрам. Трубят рога: княжеская охота рыщет по перелескам. Курятся соломенные крыши изб, хозяйки топят печи. Рожь просушена в овинах и ссыпана в житницы. Из мягкой соломенной золы хозяйки варят щелок. Мужики и бабы моются в корытах и кадушках, нагрев воду раскаленными камнями, а где и в больших хлебных печах – смывают пот и грязь. Работы окончены, можно и отдохнуть. Зимние – еще не начались. Извоз, дрова – до снега. Варят пиво и мед. Скоро свадьбы, Святки, Масленая... Вечерами девки сходятся на беседы – супрядки. Лучина, потрескивая, освещает румяные, с летним загаром, похорошевшие лица.

Позднюю осень Федя особенно любил. Может, потому, что первые воспоминания у него были о первом снеге. Как он стоит, маленький, босиком, и летят и кружатся белые снежинки и как пощипывает ноги, если наступить, и не понять отчего.

Первый снег всегда вызывал в нем радость. Так бело на зеленой траве, так отвычно для глаза и ярко, даже спервоначалу больно смотреть. После серых осенних полей белизна радостно жмет на глаза. Желтые березовые листики кажутся еще желтее, еще ярче на белом. И воздух такой свежий-свежий. Вдохнешь – и не хочется выпускать его из груди, и еще вдохнешь, и еще...

Нынешней осенью было особенно свободно, без отца, что ушел с князем в новгородский поход. Не надо было посто-

янно страшиться. Мать ругала за шалости, а не била, у отца же рука была тяжелая, и Феде, как он считал, доставалось больше всех. Меньшую, Проську, отец баловал, старший брат был уже работник, и отец иногда спрашивал его или говорил что-то как равному. Федя тогда ревниво завидовал брату.

Без отца, одни, они нынче делали загату вокруг дома и заплетали соломой, на зиму, для тепла. Без отца мылись в Прохоровом дому, вдвоем с братом, в очередь после матери, в русской печи, нежась в сухом горячем жару, и вдоволь дурили, плескаясь и щипая друг друга. До недавней поры мать мыла Федю как маленького. Усевшись в печь, на соломенную подстилку, она клала его себе на вытянутые ноги, головой к устью, мыла сперва живот, а потом, перевернув, как лягушонка, спину и голову. Окотив, звонко шлепала по заднему месту и выпихивала, красного, распаренного, вон из печи. Там он, с помощью брата или отца, обмывался холодяной, сох, надевал чистую рубаху и лез на полати, где еще долго опоминался, ощущая блаженство от чистоты и непривычную легкость во всем теле.

Сейчас, без отца, можно было позвать Козла домой. Батя не очень жаловал его приятеля:

– С голью водитьце – себе нахлебников растить! – говорил он. – Ты с княжичем своим дружи! Он подрастет – удел получит, авось и тебя не забудет той поры!

От таких советов Феде совсем переставало хотеться

встречаться с Данилкой, «московским князем», как за глаза звали его ребята в училище, и, наоборот, хотелось чаще встречаться с Козлом. Тот был маленький, приткий, вечно голодный и, верно, был как козел – проказлив на все детские шалости: в огород ли слазать, нарвать чужой моркови и луку, гнездо ли разорить, утащить чужие салазки зимой... В драках он тоже не уступал другим, хоть и не вышел ростом. А в спорах ребячьих, припертый в угол, краснел весь, как смородина и говорил: «Пошел ты, знашь! Куды не знашь!» – Грубого слова Козел никогда не произносил, слушался матки своей.

Козел уже, наверно, лепит снежки из первого снега или ломает лед на пруду... Когда кончилась осенняя распутица и отвердела земля, Федя снова стал ходить в училище, хотя сейчас, осенью, было особенно страшно возвращаться уже в потемнях назад и проходить мимо Глинницы – проклятого врага под самым Клещином-городком, где когда-то мерянские колдуны совершали свои волхвования, пили человечесю кровь, как уверяли некоторые мальчишки. А теперь во враге жила нечистая сила, пугала, свистела, сбивала с пути. Кто шел мимо, обязательно крестился и читал молитву – «Отче наш» или «Богородицу», – а не то можно было пропасть. Сказывали, как девку с Криушкина утянуло во враг, да и не нашли потом. А недавно Козел, сидя на заборе и скаля зубы, рассказал, как два мужика с Маурина шли мимо Глинницы и помянули нечистого, а он и явился им. Мужик как мужик, а

зубы скалит. «Вы, – говорит, – как идете? Давайте я вас поведу!» И завел. А водополка была, дак они и бродили, бродили, чуть живы вышли. Под Пасху дело было. И колоколы слышат, а выйти не могут. Так бродили, и оба умерли сегод!

Козел, конечно, рассказал не зря. Завидует, что Федя учит грамоту, дак и решил попугать, а все же проходить мимо Глинницы одному стало вовсе невмочь.

Федя потыкался по избе, не зная, за что приняться. К Проське набралась целая куча девчонок, и все пищали, а Проська расставляла свои чурочки, соломенные и тряпичные жгутики, в середину сажала владимирскую куклу в парчовом саяне и приговаривала, разводя руками:

– Царская кукла!

– Княжеска! – бросил Федя, как взрослый, глянув на подарок «московского князя».

– Царска! – пропищала Проська ему в спину.

«Пушай зовет, как знат!» – подумал он, хлопая дверью. На холоде дверь перестала забухать и звонко щелкала, закрываясь.

В воздухе реяли легкие редкие снежинки. Эх! Слепить первый снежок, а скоро и салазки можно будет достать, вскочить, проехать со склона к пруду, а то побежать туда, к обрыву, куда ходят большие мальчики, и – вниз! Он еще ни разу не катался с обрыва, только с замиранием сердца смотрел, как с визгом и уханьем летели вниз, иногда перевертываясь, старшие парни и девки. В училище идти было еще рано. Фе-

дя огляделся и побежал искать Козла...

Занятия он прогулял. Вечером мать с бранью усадила его за книгу, поставила свечу. Свечи зажигали редко, берегли. Они с Грикшей уселись носами друг к другу, шевеля губами, читали. Грикша читал медленно, но упорно и уже перевернул страницу засаленного служебника, а Федя, утомясь складыванием непослушных букв, остановился и начал разглядывать цветную заглавную букву, представляя, что это лодья, плывущая по озеру.

– А ну, прочти! – потребовал брат.

– Веди... он... зело... веди... возвокробех...

Звонкая пощечина сопровождала его чтение. Федя вскрикнул, сжав кулаки:

– Не дерись! Бате докажу!

– Батя тебе ищо добавит!

Это была правда. Федя сник и, глотая обидные слезы, стал бороться с непослушными буквами, трудно складывая:

– Веди... он... наш... вонними...

– Вонми ми! – поправил Грикша, не глядя на него. – Внимай, значит.

– Вонми ми, и оци... сы... услыши ми... юс... мя... веди... он... зело... буки... Во гробех, нет, возскорбех печалию...

Свеча, колеблясь от дыхания мальчиков, тихо оплывала. Мать, посматривая на склонившихся сыновей, сучила и сучила пряжу. Сама она была неграмотна, как, впрочем, и все

бабы на селе.

Ноябрь встречали без снега, боялись, что вымерзнут зеленя. Однако за неделю до Филиппьева дня снег пошел сразу густой, пушистый и укрыл все. В обмерзшие, затянутые инеем окошки стало теперь ничего не видеть, да еще для тепла одно из них задвинули задвижкой и заткнули ветошью, а в другое, вместо бычьего пузыря, вставили пластину ровного льда. Дома все чаще сидели в шубах, а, приходя со двора, греться залезали на полати. Подходил Рождественский пост.

Озеро замерзло, и по нему уже ездили на саях. Серое небо, мягко-лиловое, низко висит над землею и неслышно порошит снегом. Сугробы кое-где сровнялись с крышами. Ветра завивают серебряные смерчи, жалобно гудит в дымониках, шерсть на лошадях курчавится от мороза, облако белого пара окутывает входящих в избу. Козел прибежал: руки красные, его круглая, с острым подбородком, как у мышонка, мордочка тоже вся обмерзла и пошла сизо-красными пятнами. Залезши на полати, он долго трясся там, согреваясь. Отогревшись, повеселел. Да еще Федя сунул ему кусок хлеба, и Козел жадно проглотил его, держа в горсти и уминая за обе щеки.

– Федюх, айда сказки слушать!

Мать не баловала сказками, она больше пела, а сказки сказывала редко, из пятого в десятое, обычно даже не доводя до конца. Поэтому Федя с радостью согласился.

– К кому?

– К Махоне рябому. Там ноне беседа, и Маланью позвали. Она сказывает – ух ты! Тут и заспишь, и хлеба исть не захочешь!

Федя быстро намотал онучи, надел лапти. Козел был бо-сиком, пото так и замерз. Вынырнули на двор, на синий об-жигающий холод. Козел понесся, высоко подкидывая ноги. Федя едва поспевал за ним. У Махониной избы мальчики долго колотились. Козел прыгал то на одной, то на другой но-ге, а ладонями тер себе попеременно пятки. Наконец дверь подалась. Открыла Фроська:

– Куды, мелочь вшивая?!

– П-п-пусти с-сказки слушать! – пробормотал Козел.

– Ох ты, и без сапог! Ну лезь, да тихо!

В горнице потрескивала лучина. Кто прял, кто так сидел. Мальчики тихонько пробрались к печке и полезли на полати, в тесноту, в сдавленные шепоты, пихая чьи-то ноги, руки, получая тычки. Наконец умостились кое-как и, согреваясь, начали вникать в затейливое журчание сказки.

– ...И идет Ванюша, а клубочек котитце, котитце перед им. Блиско ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, идет день, идет другой. Попадает ему встречу стар старичок: «Куды, доброй молодец, идешь, куды путь держишь? Волей-неволей али своею охотой?» Отвечает ему Ванюша: «Иду я туда, не знаю куда, волей-неволей, а больше своею охотой...»

Сказка вводила куда-то, чудился лес, но не простой, а чу-десный, где елки до самого неба, и за лесом неведомые зем-

ли, далекие, как Новгород, как Хвалынское море и царь перский...

Снег все шел и шел. По утрам приходилось расчищать снежные заносы на дворе. Волки выли за самой околицей.

Подошло Рождество, следом Крещение и Святки. Внове было встречать праздники без отца, внове и вольготней. Батя, бывало, разгонял всякое веселье. А тут – дверь так и хлопала. Матери кричали:

– Михалиха, скажи жениха!

– Анемподост! – кричала, сама путаясь и смеясь, мать, выбирая имя помудренее, что и не выговорить. Славщикам она накладывала пироги, сама бегала гадать вместе с бабами. На Святках приходили ряженые, страшные, с рогами и хвостами, размахивали факелами из крученой, обмакнутой в деготь бересты, плясали.

– Тише, скаженные, избу подожжете! – смеясь и бранясь, унимала их мать. А те тормошили и звали ее с собой.

– Мам! А давай без бати жить! – сказал однажды Федя, в полной уверенности, что и ей легче без отцовской брани. Но мать тотчас дала ему подзатыльник и заплакала:

– Кажен день молю угодников! Да куды я тогда с вами, с троимы! Есь в тебе ум-то?! Отец когды и поучит, дак на то он отец! Глава! Становись на колени, молись, чтобы прошло слово-то глупое, ничо не стряслось с има там, в немецкой земле!

К великому счастью, мать скоро забыла Федино неосто-

рожное слово и не поминала потом.

Миновала Масленая. О ратниках все еще не было ни слуху ни духу.

Федя за эту зиму очень вытянулся, пошел в рост и уже сносно читал, подгоняемый неукоснительным братним надзором.

Уже начинал рыхло проваливаться снег и тени голубели, чуялась весна. Обросшие за зиму мохнатые лошади вдруг останавливались, нюхали ветер и тихо ржали. Приближалась Пасха. На Крестопоклонной неделе дошла весть, что ратники возвращаются из похода.

Звонили колокола в Переяславле и на Клещине-городке. Федя, радостный, возвращался из училища. У ворот их усадьбы стоял знакомый конь, и он, с сильно забившимся сердцем, одновременно со страхом и радостью (помяная все зимние прегрешения!) понял: то воротился отец.

В избе сидел дядя Прохор, еще какие-то два мужика, а из угла, где толпились в полутьме Фрося, сноха Дарья, Окулина, Олена, еще какие-то женки, слышались рыдания, и Федя сперва даже не понял, что это рыдала мать. Дядя Прохор говорил меж тем, обращаясь к мужикам:

– Коня и бронь – в целости! Чего больше, но коня и бронья сохранил.

И мужики кивали головами и прикладывались к братине с квасом.

– Федюх! – окликнул его дядя Прохор и поглядел без

обычного хитроватого прищура, прямо и строго: – Батька твой убит.

В голове еще гудели праздничные колокола, помнились сегодняшние шалости, чьи-то шутки, так что он даже чуть-чуть не засмеялся, и вместе с тем все как будто поворачивалось, отходило, погружалось в звенящую тишину, лишь издали донося рыдания матери.

Как же так?! – думал Федя, все еще ничего не понимая. Отец ведь должен прийти. Его ждали возить дрова и сено, толковали еще, что скоро придут. Он сам боялся суда за мелкие свои грешки... Как же так? Убит?

Он стоял потерянный, не зная, что сделать, сказать, куда ступить, сжимая в руках торбу с книжкой. А дядя Прохор уже оборотился к тем двум мужикам, и откуда-то издалека до Феде донеслось сказанное им слово «Раковор!».

– Раковор, Раковор, Раковор... – повторял он про себя бессмысленное звонкое слово и все не знал, ступить ли дальше или уйти, выбежать, переждать... Казалось, что надо только где-то спрятаться и переждать, и тогда все кончится, придет отец, и они станут возить сено.

Кто-то из баб заметил остоявшегося Федю, запричитал над ним:

– Соколик ты мой ясный! Жалимая сиротиночка!

Федя только низил голову, не зная, что ему делать. Ни слез, ни горя не чувал он, а только растерянность, подавившую все, и горячее, почти неодолимое желание убежать и

пересидеть эту беду.

Меж тем в избе начиналась деловитая суета. Что-то снимали, вешали, доставали какие-то одежды. Кто-то дал ему миску щей, и он жадно хлебал, сидя в углу, на краешке стола. Вот встал дядя Прохор и, обращаясь к матке, которая, качаясь, поддерживаемая со сторон бабами, со вспухшим, словно не своим лицом, старалась понять, что ей говорят, сказал: – Пашню я вам вспашу!

Мать поклонилась ему и зарыдала снова.

Ближайшие дни Федя был все в том же состоянии. Смотрел на хлопоты, на мать, что пекла, стряпала и плакала в одно и то же время, на деловитых, помогавших ей Фросю и Дарью. Слушал неспешные рассказы о большом сражении с немцами (Раковор – это, оказывается, так называлось место, где произошла битва). Смотрел, как собиралась родня и ближние, сидел за поминальным столом. Услышал, и тоже словно во сне, как кто-то из баб уронил вполголоса:

– Младший-то совсем бесчувственный, ни слезинки, ничо, и об отце не поминат!

Все ели и пили пиво. От тоже ел, спеша насытить свой вечный детский голод. Низил голову, когда кто-нибудь из бесчисленных свестей, кумовей и ближников с заученным сочувствием спрашивал его: «Жалеешь батьку-то?» Молча, затрудненно кивал головой в ответ. Слушал, как мать разговаривает с братом Грикшей о сене, как со взрослым, и вроде даже ищет совета у него, и Грикша, сдвигая светлые брови,

отвечает ей как настоящий мужик и начальственно кидает ему, Феде: «И ты будешь возить тоже!» И опять Федя кивал заученно, и все было как во сне.

Порою он чувствовал даже облегчение. Не будет отцовых тяжелых взглядов, страшноватого пьяного гнева, когда летели горшки и хряпала огорожа, а двери, казалось, вот-вот вылетят из подпятников; не будет затрещин по нужде и без нужды. Ну что ж, сено так сено! И дров навозим! Пашню дядя Прохор обещал вспахать! На дальше он уже не загадывал. И брат глядел на него отчужденно, и мать с каким-то горьким укором бросала ему ложку и хлеб, когда садились хлебать из общей миски. Федя старался чаще убегать из дому, часами пропадал у Козла, то бродил по улице или, замерзнув, забирался в клеть и тут отогревался, не смея зайти в избу, лишний раз показать матери свои сухие глаза...

Возвращались ежедневные будничные заботы, и в нем нарастало облегчение. Он подолгу лежал вечерами под шубой, вспоминая, как Козел, тоже считавший своим долгом утешать Федю, говорил, что ничего – у него тоже батька на рати погиб, и в тех же местах! Федя лежал, думая ни о чем, все с тем же пустым звоном в голове. Мать с братом вполголоса в темноте переговаривались, что завтра надо уже начинать возить. И Федя, слушая этот как бы чужой разговор, совсем успокаивался. Непонятно жестокое прошло, проходило... Нынче он первый раз спокойно уснул, и во сне наконец, впервые с тех пор, как пришла злая весть, увидел отца.

Он так же лежал под овчиной, и отец о чем-то шептался с братом, и он знал, что собираются на рыбалку и обещали взять его с собой, и вот он лежит и ждет этого часа и что-то слышит, какие-то голоса, и вдруг, вздрогнув, просыпается от тишины и понимает, что они ушли, ушли, не разбудив, обманув его, маленького, и он вскакивает как есть, в рубашонке, и бежит стремглав, ударяется в дверь, падает и бежит по двору и по темной ночной деревне, с громким плачем, и добегает до обрыва, кусты хлещут его, он падает, катится, весь исцарапанный скатывается с горы и снова бежит, уже на мягких, трудно слушающихся ногах, бежит, тяжело дыша, и вот уже и вода, тускло светящаяся, и лодки, и кто-то темный отчаливает, и понятно, что это отец, и тогда он снова в голос начинает кричать и бежит, бежит, и вот видит, что отец придержал лодку багром, и он кидается в плотные отцовы руки, с рыданием, и отец, усмехаясь: «Прибрел-таки!» – усаживает его в лодку, сильно пихаясь, потом снимает с себя сермягу и укутывает его, уже задрожавшего от ночного озерного холода, и он согревается и уже молча, приходя в себя, смотрит, как гребет отец, как струится вода, как сперва брат, а потом батя бьет кресалом, разжигая огонь, и вот Грикша подымает дымный смолистый факел, а отец берет строгу, подымается и, прицелясь, с жестоко кривящимся лицом, бьет строгой в воду, и тотчас вода начинает бешено плескаться, и извивающаяся страшная щука подымается, разбрызгивая воду, над лодкой, и отец стряхивает рыбину к Фединым ногам, так что он

прячет пальцы босых ног под сермягу и весь поджимается, а рыбина продолжает плясать, горбатясь и разевая пасть, а потом затихает и лишь иногда сильно вздрагивает всем скользким пятнистым телом, ударяет хвостом и, зевая, показывает острые зубы, уже затрудненно, медленно разводя и сводя челюсти, а за ней в лодку падает вторая и тоже спервоначала начинает бешено скакать и свиваться кольцом, за второй – третья... Грикша переменяет факел. Отец иногда бьет мимо и тогда тихо ругается. Рыбины летят и летят, брызгая водой и кровью, а Федя начинает дремать и вот уже совсем спит, и отец выносит его на руках из лодки и, сильно встряхнув, ставит на ноги, и Федя сразу мерзнет, лишенный сермяги, и, с прыгающими губами, качаясь и больно спотыкаясь о камни, спешит за отцом и братом, которые идут, уже не обращая на него, хнычущего, внимания. Грикша несет строгу и весла, а отец тяжелую торбу с рыбой, которая все еще шевелится у него за спиной, и вода стекает и капает в лад отцовым шагам...

И, пробудясь, поняв вдруг, что этого уже никогда не будет – ни темной дороги, ни озера, ни рыбалки, ни отцовых твердых рук, – Федя наконец заплакал, беззвучно трясясь, и слезы бежали у него из глаз по обе стороны лица. Грикша в темноте протянул руку, неумело обнял младшего брата и притянул к себе. И тоже молчал. А Федя продолжал плакать и вздрагивать, и так, вздрагивая, и уснул, теперь уже до утра.

Первый воз наклали маленький, обминали дорогу. Довез-

ли благополучно. Со вторым же намучились. Ни мать, ни Грикша не сумели затянуть веревку по-годному, и воз рассыпался по дороге. Пока перекладывали да ругались, стемнело. Только и успели в первый день. Федя намерзся, вымок и уже начал понимать, что значит остаться без отца, который то же самое сено, на том же коне возил играючи и никогда не ронял, а Федя только сидел на возу да глядел по сторонам на опушенные снегом елки.

Снег был уже талый. Приходилось спешить. Днем липло к полозьям так, что лошади из сил выбивались. Когда принялись за дрова, Федю, накатав дорогу, стали посылать одного. Во второй или третий раз с ним приключилась обидная неудача. На выезде из лесу, близ Лаврушкиной пожни, выдернулась оглобля из гужей – все было сырое, и гужи раскисли от воды, – воз съехал с наката в снег, и как Федя ни бился, ничего у него не получалось. Он с трудом дотягивался до хомута, а вставить оглоблю и затянуть гуж у него решительно не хватало сил. Измучившись, он тогда совсем выпряг, срывая ногти, и полез было сесть верхом, но покатился, не сумев взобраться, а Серко, освобожденный, в одном хомуте, отбежал в сторону и, фыркнув, оглянулся на Федю. Федя пошел за ним и, уцепившись за седелку, снова попытался вскарабкаться на спину коня. Но уже не было сил, пальцы разжимались, и он снова упал. Ища, на что бы взобраться, он упустил повод, и Серко спокойным шагом направился по дороге к дому. Федя пошел за ним, потом побежал, но конь прибавлял

ходу, на все призывы лишь мотал головой; останавливался, оглядываясь, слушая детскую ругань и плач, фыркал и отбегал снова, чуть только Федя чаял уже поймать волочившийся конец повода. А вдоволь измучив Федю напрасной погоней – от беготни у того даже шапка стала мокрая, – конь перешел на ровную рысь и совсем оставил его одного, измученного и мокрого, на дороге, с засевшим где-то назади возом. И ему пришлось со стыдом идти домой, полем и лугом, а когда добрался, Серко, как ни в чем не бывало, уже стоял во дворе и подбирал раструженные клочки сена. Жалеть Федю ни мать, ни брат не стали. Впрочем, и у него от усталости прошел уже гнев на коня. Всем приходилось трудно, коню, проделавшему долгий поход, тоже.

Возке, казалось, не будет конца. Сани проваливались, оглобли, как масляные, вылезали из гужей, и мать с братом перепрягали, завертывая гужи с сеном, чтоб крепче держалось. В Никитский монастырь Федя больше не ходил, впору было добраться до постели.

Как-то раз (уже кончали возить, и лужи стояли на снегу озерами, а на въезде в деревню обнажилась черная земля) Федя, ведя воз, встретил княжескую охоту. Осочники проскакали мимо, гоня лисицу, и Федя не обратил бы внимания, кабы знакомый голос не окликнул его. Он придержал коня. Княжич Данилка, румяный, красивый, на легконогой серой лошадке, глядел на него и весело окликал. Поздоровались. Княжич спросил, почему Федя не ходит в училище? И Фе-

дя, дичась, ответил, что недосуг, за дровами, за сеном... Он хотел сказать, что батька убит, но княжич опередил его:

– Слыхал, батьку твою убили? – спросил он просто и участливо, и Федя молча кивнул, сразу как-то оттаяв и перестав сердиться на княжича. Данилка вздохнул, потупился, помолчал, а потом похвастал:

– А мне коня подарили, вишь! – И огладил гриву нарядного коня.

С поля окликали княжича. Он повернул голову, махнул кому-то рукой и сказал, вновь оборотясь к Феде:

– Ты приходи! Как вывозишь дрова – приходи!

И, уже тронув коня, спросил, то ли сам додумав, то ли подражая взрослым:

– С голоду не помираете там?

Федя потряс головой.

– Приходи! – прокричал княжич, пуская коня, и Федя тронул своего, шевельнув поводьями вправо-влево. Он уже, наученный горьким опытом, знал, как лучше стронуть с места груженный воз, чтобы конь не надрывался, отдирая прилипшие к снегу полозья, чтобы оглобли вдругорядь не выскочили из гужей.

## Глава 8

Дмитрий Александрович воротился из-под Раковора с добычей и честью. Юрий, сын покойного дяди Андрея, бежал с

поля боя. Он же выстоял и добыл победу. Не посрамили себя и новгородцы. Он еще и теперь, закрыв глаза, мог увидеть несущийся, блистающий доспехами, грозно ревуший клин вражеской «свињи», опрокинувшей конный новгородский полк, цветные немецкие знамена и вал новгородских пещев, что, смыкаясь на ходу, шли встречу вражеской конницы. Видел железные шлемы без лиц, слышал гибельный скрежет железа о железо и то, в падающем сердце тревожное – и стыд обернуться! – скачут ли за мной?! Нет, переяславцы не выдали, и Дмитрий был горд победой. Он опять и опять вспоминал тот миг, когда стена, о которую, казалось, сейчас сломаются копья и сомнутся мечи, распалась, и он увидел спины бегущих и уже рубил, рубил и рубил, и его обгоняли, рубя врагов, а разгромленные датчане и пешие чудины бежали от них по всему полю, и рыцарская конница стремительно уходила за холмы.

После Новгорода, его громадных ратей, многолюдства градского, вольного кипения торго, шума вечевой площади, розовых и белокаменных соборов, возносящихся ввысь теремов, после лиц веселых и дерзких, разноязычной толпы заморских гостей, что, казалось, собрались изо всех ведомых земель, после новгородской свободы – платя дань, новгородцы меж тем не держали у себя баскака, да и сами татары не домогались сомнительной чести быть, не ровен час, зарезанными разбушевавшейся северной вольницей, – после всего этого родной терем, даже родной Переяславль казались убо-

ги и тесны. Соломенные кровли и плоскостые мерянские лица наводили уныние.

Он любил Новгород ревливой и злой любовью. Он вырос в нем и был удален оттуда. Он злобился на новгородских бояр, на посадника, на граждан, изменивших ему, сыну Александра, и не мог забыть этих лиц, этой спокойной осанки вятских, этих уверенных речей и твердых глаз, этого богатства не напоказ, этого достоинства в каждом горожанине, встреченном на тесовой новгородской мостовой, деловитой грамотности посадских людей, строгой красоты иконного письма, гордой свободы горожанок...

У него все было в Новгороде. Была и любовь, когда он понял, что и князя можно отвергнуть здесь, на Новгородской земле (не про него ли сочинили потом обидную песню!), и... Как он понимал дядю Ярослава, что бросил Тверь и великое княжение в придачу к ногам новгородской боярышни! Как понимал, как завидовал... Сам он тогда, в семнадцать лет, при живом отце с матерью не решился, не мог решиться на такое. И она ушла, капризно надсмеявшись над ним (над ним, сыном Невского!). И как он любил тогда! Даже сейчас, едва выдержал... Но выдержал, не стал узнавать. Прошло. Верно, муж, дети. Как и у него теперь.

Жена, сосватанная матерью, – маленькая, едва по плечо мужу, – сияя и робея, встретила его в терему. Вспыхивала, не зная, что сказать, как лучше приветить. Ласкал ее ночью, закрыв глаза. Мятежный Новгород, злой и лукавый, тянул к

себе, и не было до конца того чувства, что – дом, что вернуться домой. Дом – желанный, уплывающий, был там, далеко, где чувствовали нынче его, победителя, и вели окольные речи... Нет, против дяди Ярослава, как бы ни хотела Прусская улица и даже вся Славна, он не пойдет!

Литвин Довмонт, новый пришлый псковский воевода, понравился ему. Умен. Видно, что умен. И храбр так, что уму непостижимо. Верно, таким был батюшка в молодые годы... Как умел отец держать всех в своей горсти! Князей, бояр, Великий Новгород, да и они, дети, не посмели бы своевольничать при нем. Не пощадил же он Василия, и после не простил, и уже не допускал на очи до самой смерти. Да, ему, Дмитрию, все-таки далеко до отца. Родного брата, Андрея, что сидит на Городце, уже невозможно заставить слушать себя. Женился на боярской дочери... Княжон не нашел? Да и на чьей? Все ему, Дмитрию, вперекор! А прежние вечные их ссоры с братом! Это Андреево давешнее: «Паче батюшки хочешь быть!» Да, хочу! Они оба с Андреем соревновались, кто из них больше будет походить на отца. Потому и была ярость в бою, и гордое мужество, и восторг, когда исчезает страх в расширяющемся сердце и тело становится легким и тяжелой рука. Потому и были: твердая походка, неспешный поворот головы, прямой взгляд и молчание – рассчитанное, недетское, отцово. Потому и было упорство: задумав, не отступать, не свершив.

Но для того, чтобы сравняться с отцом, нужна была

власть. Нужно было великое княжение, нужен был Новгород, своенравный, едва укрощенный отцовой дланью и теперь вновь вырывающийся из узды. И нужны были сейчас, пока сила в руках и жаркая кровь в жилах, пока все еще впереди и прожито только двадцать два года жизни, всего двадцать два!

Он лежал и не спал. Думал. Спать не хотелось. От заморского красного вина, что пили сегодня с боярами, все еще стучало в висках и слегка кружилась голова. Угощали ратников, угощались сами. Утром слушали благодарственный молебен в соборе, единственном каменном на весь Переяславль, строенном еще Юрием Долгоруким. Строить тогда умели. Владимирские соборы, пожалуй, значительнее новгородских, изобильнее белым камнем, богаче резьбой... Владимир и сейчас еще больше Новгорода... Нет, не больше! Пустеет Владимир. Был, говорят, больше – до татар.

Переяславль тогда, верно, тоже был больше, чем ныне. Отсюда, из Переяславля, уходят пути на Ростов, Юрьев, Владимир, Дмитров, Углич. И туда, через Москву, на Смоленск, на Чернигов и Киев... Не зря отец сидел здесь, в сердце страны. И все-таки стремился на север. Радовался, когда к нему шли служить новгородские бояре, давал им земли здесь, в Переяславском краю.

Земли приходилось давать за службу и нынче. Серебра было мало. Серебро требовала Орда. Оно струилось оттуда, из Новгорода, и плыло, уплывало в жадные, ненасытные ру-

ки ордынцев. Чтобы тучнели стада и росли дворцы, чтобы царства и языки трепетали при слове «татары», чтобы льстивые франки и сам папа римский слали грамоты и посольства в Сарай и Каракорум... От этого становилось душно. Душно становилось от сытого, широкого и плоского, с узкими умными глазами лица баскака, которому он, князь, должен был после молебна в соборе давать отчет о походе и подарки ему и Орде. Да еще: «Пачему мало даешь?» И не скажи: люди бегут! «Бегут? Пачему бегут? Ты князь! Пашли бояр, верни! Куда бегут? Леса бегут? Все сбегут, тебе тогда плати, свой галава плати! Ханым люди не бегут! Орда не бегут! Палахой князь! Своя боярынь сыми, себя сыми, Орда давай!»

– Падаркам давай! – пробормотал он, скрипнув зубами. И то еще легче, чем при Беркае, когда любой посол татарский творил, что хотел, а смердов толпами угоняли в полон... Как отец терпел! Дмитрий порою больше понимал покойного дядю Андрея. Да, надо драться, спасти древнюю честь и святыни! Спасать древлекиевскую славу, пока она не исшаяла на ветру! Спасать храмы и терема, иконы и книги.

Ничего им не объяснишь, ничем не вразумишь, и не примут они никогда христианской веры! У них своя вера, требующая крови врагов!

Погинуть? Пусть! Но в ратном строю! Но не задыхаться еженощно от бессилия, ненависти и унижения, не подлаживаться, не заставлять себя любить своего врага!

Да, они покорили полмира. В мужестве им не откажешь.

Да, они честнее других, они не предают своих и не бросят в беде, не изменяют своим ханам, не завидуют, не лгут, не воруют – там, у себя, в Орде. В походах могут сутками не есть и не спать, не слезая с седла. Они не бегут с поля боя. Они не убивают трусливо послов и не прощают этого никому другому... Да, они такие!

И не так уж они жестоки в бою. В бою – кто не жесток! И кто не зорит захваченных городов и не уводит полона? И... В конце концов! Ежели владимирские князья не сумели удержать власть, пусть бы сели новые, которые вновь подняли величие страны, воздвигли новые храмы и города, чтобы кипела торговля, строились деревни и села, тучнели и колосились нивы, множились стада, расцветали многообразные ремесла... Но им же ничего не нужно! Дранный тулуп, да чашка кумыса, да бесконечная песня, что тянет монгол в степи... Им не нужны ни наше ремесло, ни наша утварь, ни наша еда. Разве только наша кровь для войны! А что иное? Просо коням?! Смешно! Им не нужны наши книги, и книги эти сгорят. И не от татар сгорят! А от небрежения опустившихся, забывших свое прошлое русичей. Им не нужна красота: храмы, колокольные звоны, священные лики икон... И угаснут колокола, а храмы повергнутся в прах. Они, даже и не желая того, сами собой опустят страну до уровня степной Орды.

Так что же? Воззвать, ринуть рати, одолеть или пасть в бою?! Нельзя! Пока страна не в единых руках, ничего нельзя. Терпят все. Даже Новгород платит ордынскую дань. Да и

откуда бы взять силы?

Город хиреет. Ремесленники в низких прокопченных полуземлянках толкуют о том, куда податься. В лесу за озером растут терема. Чего говорить о мужиках, когда княгини правящего дома ищут убежища в лесу за городом? Попробуй собери тут городских мужиков, как в Новгороде, да поведи в бой!

И с тамги, и с мыта, и с конского пятна, с ремесла и торгова – все меньше и меньше доходов. Наместники качают головами. Земля скудеет серебром, пустеет казна.

На что опереться? Где путь? Юрий Владимирский мог кормить дружину у себя в терему! Нынче не прокормишь. Одно спасает – земля. Из отцовых бояр, что пришли за ним из Новгорода, те и остались, у кого поместья под Переяславлем: Гаврило Олексич да Миша Прушанин... Да и то Миша, поговаривают, хочет воротиться к себе в Великий Новгород. А иные отъехали к дяде Ярославу, в Тверь, кто в Костроме, у Василия... Гаврило Олексич, Гаврило Олексич, ты хоть меня не оставь!

Хорошо ли то, что бояре сидят на вотчинах, а не кормятся из рук князя? Те, прежние, были со своими князьями в беде и в бою. И переезжали за ними из города в город. А эти, поди-ка, уже не поедут!

Впрочем, и то сказать: сколько было спеси, пышности, а не удержали кормленные Владимировы бояре земли! Пали рати, погибли воеводы. Русь платит дань Орде. Давно ли степи

няки давали Руси дани-выходы!

И по-прежнему которы, зависть, споры, нестроения в князьях. Дядя Ярослав давно отступился от Чернигова с Киевом. Удержит ли еще Новгород?! Сейчас поехал туда спорить. Их переспоришь...

Дмитрий наконец почувствовал усталость. Мысли стали мешаться. Он уронил голову на изголовье, обтянутое мисюрской камкой, и уснул. Жена, не размыкая глаз, осторожно натянула повыше шубное одеяло, закрывая плечи Дмитрию, и теснее прижалась к ненаглядному своему красавцу супругу.

## Глава 9

Александра со снохою мылись в большой хлебной печи на поварне. Дмитрий поварчивал, а все равно мылись в печах. Александр, покойник, поставил новгородскую баню на дворе. Ходили туда да и перестали. В печи жар словно был суше и разымчивей – до костей пробирало. Всякую болеть, что от воды, или ветра, или иной застуды, снимало как рукой.

Печь вытопили накануне сухими дубовыми дровами. Дали выстояться. На сноп золотистой ржаной соломы постелили чистые рушники. Александра, кряхтя, разоблоклась и полезла первая в пышущее сухим жаром устье. Затянулась, перевернулась на спину, отдыхая, – всю сразу проняло потом. Потом поднялась, села, поерзав, уминая солому. Позвала сноху: «Лезай!» Печь была просторная, хоть троима мой-

ся. Пухленькая Митина жена скоро залезла, устроилась рядом. Александра черпнула ковшом, кинула пар. Сноха ойкнула. Сразу стало нечем дышать и словно огнем охватило, и так же быстро прошло. Горячие кирпичи мигом всосали пар. Александра нынче не заволакивалась заслонкой, сердце стало сдавать. Посидели. Из устья шел легкий воздух, и дышалось легко, тело же было все в банной истоме. Александра снова плеснула на кирпичи. Снова все мгновенно заволкло белым раскаленным паром. Снаружи на ухвате подали горшок с холодянкой. Сноха разбирала волосы. Александра, потыкавшись в ее скользкие ноги, нашарила кусок болгарского привозного мыла. В печной темноте, бабьей, нестыдной близости распаренных тел решила спросить о тайном: не понесла ли? (Ванятка плох, нать бы еще сына-то!) Сноха потупилась. Стесняется али уж и гребует, не хочет говорить... Александра вздохнула. У нее самой пятеро было сыновей! А нынче все врозь. И не соберешь. Василий – тот пьет без ума. Ее винит. А она что? Отец решил, бояре присудили... И Митя с Андрейкой все не ладят. Она уже стала забывать, как умела прикрикнуть на них на всех когда-то, как шлепала – скоро была на руку – и Андрея и Митю, как властно гоняла холопов и бояр. Под рукой у мужа и сама была госпожа... А теперь хотелось покоя. И боязно делалось, когда видела в детях черты покойного мужа. Только младший, Данилушка, смиренный. Обещали Москву, и ладно. Дитя еще! А дадут ли, нет – невесть! Деверь-то, поди, и не даст, кто другой бы!

Снова вздохнув, Александра заговорила о смерти юрьевского князя, Митрия Святославича. Старого Святослава обидели: владимирский стол и Суздаль отобрали у него Александр с Андреем. А Митрий Святославич того в сердце не держал, покойному друг был первый, и на похоронах Александра старался паче прочих.

Юрьевский князь помер нынче, канун Пасхи. Два года уже, как болел и потерял язык. А тут, при епископе Игнатии, посхимившись и получив причастие, обрел язык и выговорил: «Исполни Бог труд твой в Царствии Небесном, владыко! Се покрутил мя еси на долгий путь вечна война истинному царю, Христу, Богу нашему!»

Александра умиленно, с удовольствием повторила слова покойного (смерть Дмитрия Святославича была еще новостью для всех, Александра узнала о ней первая, и то, что у постели умирающего сидели Мария Ростовская с младшим сыном Глебом и сам ростовский епископ Игнатий причащали юрьевского князя...)

– Святой он, матушка! – убежденно сказала сноха. – Мити-то, жаль, при нем не случилось! – добавила она в простоте.

Александра открыла было рот, поддакнуть, да и смолкла растерянно: «Чего ж это я? И верно: почто Мити-то не случилось? Ведь улестят, обадят ростовчане нового-то юрьевского князя!»

Приметив движение снохи, Александра разрешила:

– Лезай! Я еще посижу. (Беспременно надо Мите сказать!) – Сын давно уже не советовался с матерью о своих делах. Она еще раз вздохнула. Уже не сиделось. Пора было и самой вылезать.

С трудом – две холопки и боярыня со сеней бережно поддерживали ее за рыхлые бока – Александра вылезла из печи. Опустилась на лавку. Холопки повязали голову княгини убрсом, без конца вытирали спину и грудь. Ее большое студенистое тело после бани стало жемчужно-розовым, тяжелое раздутое лицо – пунцовым. Сноха была уже в рубахе, сенная боярыня тоже, и заплетали просохшие волосы. Александра накинула сорочку, потребовала малинового квасу. Сорочка скоро промокла, принесли другую. Снова говорили про юрьевского князя, вздыхали, жалели. Пили квас и легкий, кисловато-хмельной мед.

Одеваясь, Александра не сняла с головы убруса, только сверху повязалась платом. Так, с пунцовым, обрамленным белым венчиком лицом, и вышла на улицу. После темной печи и полутемной поваренной избы весеннее солнце ослепило. Птичий щебет, близкий шум рыночной площади, голубизна, отраженная в лужах. Голубой, пронзительно свежий воздух разом наполнил грудь. Она шла по двору и радовалась. Дети были взрослые. Уладят уж как-нибудь! И с юрьевским князем, и промеж собой. Андрейка с Митей помирятся, Данилка получит Москву. Весна-то, Господи!

Радостно звонили колокола.

## Глава 10

Данилка, вымытый и выруганный матерью, тем часом сидел в светелке и, от нечего делать, возился с двухлетним племянником Ваняткой, которого тоже только что вымыли и одели в чистую рубашонку. Ругала его мать за побег. Все утро Данилка, брошенный взрослыми, бродил по теремам, побывал в челядне, где девки, сидя у станов, ткали, с однообразным шелканьем нажимая на подножки и подбивая очередной ряд, и, перекидывая челноки вправо-влево, пели негромко, хором. Он походил между станов, посмотрел на натянутые полотна, выслушал умильные бабьи похвалы себе, соскучился и пошел в шорную. Здесь стоял густой кожаный дух, мастера-холопы, с подобранными под кожаный ремешок волосами, в фартуках, кроили, резали и шили, тут же наколачивали медные бляхи на сбрую, тут же что-то жгли, стоял гул и чад, и у Данилки скоро заболела голова. Он спустился во двор, обогнул терем и, как был, без шапки, вышел на Красную площадь перед собором.

Александр Невский отодвинул торг подальше от теремов. Не замеченный стражей, Данилка проскользнул мимо молодежной и вышел на улицу, всю в грязи и тающем снеге, по которой, чавкая, шли и ехали с торгового двора и на торговый. Одет он был просто, по-буднему, и никто не заметил княжича, когда он, замешавшись в толпу, принялся обходить лавки, вдыхая за-

пахи торга, зыряка глазами по сторонам – столько всего тут было выставлено и нагорожено! Данилка начал приценяться к товарам, выспрашивать купцов, которые снисходительно отвечали мальчику, а то и просто отмахивались от него; прищуриваясь, как взрослый, трогал поставки сукон, отколу-пывал и жевал воск...

На торгу его и нашел Гаврила Олексич, старый боярин отцов, и, посадив на коня, привез назад. Мать уже хватилась и, ругая девок и няньку на чем свет стоит, искала пропавшего своего младшенького по всему дому.

Данилка дулся. Не такой он маленький, чтобы его на торг не пускать! Впрочем, племянник, который бормотал первые слова и смешно раскачивал головой, заставил Данилку забыть о дневной обиде.

– Чево у тя голова машется? Ну, чево? Молви! Ну! – говорил он, лежа перед племянником на персидском ковре и то протягивая, то убирая от него деревянного расписного коня, когда двери отворились и в светелку, пригнувшись у притолоки, вошел Дмитрий.

– Смотри, Митя, – закричал Данилка, радуясь брату. – Он уже держит, не роняет!

Дмитрий подхватил сына на руки, поднял, вглядываясь в большие, почему-то печальные глаза первенца, его слишком тонкую шею... Подумалось невольно: долго не проживет! И сам испугался этой мысли. Охватила острая жалость к сыну, прижал к себе. Тот ручонками тотчас, молча, уцепился ему

за шею, не выпуская деревянного коня, которым невольно давил Дмитрию ухо. Дмитрий покрутил головой, передвинул, стараясь не уронить, игрушку, потом, поискав глазами, уселся вместе с Ваняткой на расписной сундук, тоже восточной работы. Сына устроил на коленях.

«Наследник!» – чуть не сказал вслух.

– Митя, а... – Данилка застеснялся, стоя перед братом и любуясь им, потом все же спросил: – А тебя теперича позовут в Новгород князем?

Дмитрий усмехнулся, отвел глаза от его сияющего лица.

– Еще не созвали!

– А созовут, дядя Ярослав пустит тебя тогда?

Дмитрий серьезно взглянул на восьмилетнего братца: наслушался взрослых, что ли? Или подговорил кто? Этого вопроса он и самому себе старался не задавать.

– Мал еще! – хмурясь, отмолвил Дмитрий.

– Нет, ты скажи! – с детским упрямством, все так же восхищенно глядя на брата, повторил Данилка.

– Не знаю, Данил, – ответил Дмитрий и, не заметив сам, как с языка сорвалось, примолвил: – Может и не пустить.

– А что тогда? – не отставал Данилка.

– Много будешь знать, остареешь скоро! – решительно прервал разговор Дмитрий. – На вот! – подал он сына младшему брату, стряхивая с колен «божью росу». Вбежавшая мамка (проведала, что князь в светлице, сломя голову мчалась, скажут: дите бросила!) засуетилась, подала князю плат,

обтереться. Схватила ребенка, стала тискать без нужды. Ванятка заплакал.

– Сорочку смени! – сказал Дмитрий строго и вышел вон.

Данилка остался помогать мамке. У него в руках Ванятка тотчас перестал реветь. Сам Дмитрий не знал, что ему делать с сыном. Потому и заглядывал редко. Видел только, что слабый, больной, а нужен был воин, князь! Нужны были сыновья, много сыновей, чтобы не страшиться случайной беды, чтобы продолжили, когда придет час, дело отца и деда, дело собирания земли русской вокруг... Быть может, даже вокруг Переяславля!

Мысли – через жену и мать – перескочили к юрьевскому князю. Почему мать не могла вызнать, упредить заранее, гонца послать, наконец! Сидят, золотом вышивают... Не на добро обаживали юрьевского князя ростовчане, ой не на добро! Надо скакать к наследнику. Немедленно. Троюродный брат! Почтение оказать. Дороги развезло – все равно. Заодно узнаю, как и что. Юрьев нельзя уступать ростовчанам. Нельзя дать рассыпаться русской земле! Хорошо было Великому Всеволоду! И отцу хорошо... А у него ни власти, ни сил, ни денег!

## Глава 11

Гаврило Олексич, великий боярин князя Дмитрия, отвезя пойманного княжича в терема, воротился к торгу. Старый

боярин твердо сидел в седле, зорко, с высоты разглядывая запруженную народом площадь. Сын, Окинфий, и несколько человек дружины ехали следом. С утра он уже осмотрел ряды, где торговали сукном, холстом, рыбой, резной и глиняной посудой, кожами и многообразным кожаным товаром. Мытник, отирая обильный пот, следовал за ним. Боярин сам проверял клейма, считал и писал что-то на воощаную табличку, которую, новгородским обычаем, всегда имел при себе. Доходы все падали и падали, и князь был недоволен. Будут тут доходы, когда по Волге пути нет! Персидского товару совсем не стало на торгу...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.